ГЕРМИНИЯ МЮЛЕН

СПАРТАКОВЦЫ

РОМАН

ПЕРЕВОД С НЕМЕЦКОГО
ОСТЕРМАН

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ

„МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ"
Москва 1923

Главлит № 4029. (Москва). Тираж 10.000.

«Мосполиграф». 13-я тип. «Мысль Печатника». Петровка, 17.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Бледно-голубое небо, как в зеркале, отражается в лужах. По большой реке несутся льдины, захватывая в своем течении сверкающие осколки льда. Фиолетовые тени падают с берез на талый снег. Из плодородной, разогретой солнцем, почвы поднимается тяжелая испарина. Тихое обещание, покой, жизнерадостная, полная надежды любовь—обвевают измученную долгой зимой землю.

В тесных, мрачных улицах еврейского квартала мало заметно великолепие ранней весны. Тающий снег здесь—грязь и вонь. Мусор, скрытый под снегом, освобождается из-под своего покрова, испаряется на солнце, и вонючие испарения несутся от него к полуразрушенным домам. На лица тяжело ложится забота, испуганные глаза боязливо смотрят вдоль улицы, неясный страх направляет торопливые шаги людей в дома; перепуганные матеря не выпускают детей из дома и с облегчением вздыхают, когда мужья возвращаются вечером невредимыми домой. Тяжестью висит над городом невысказанное вслух, лишь в трепетных сердцах зловещим шопотом прорезывающееся слово. Невысказанное, пронеслось оно грозным ревом по улицам, наполняя их пронзительным страхом: погром!

Кто произнес его? С чьих трепетных губ сорвалось оно? Чей зловещий гнев, чье жуткое злорадство грозило им? Никто не знает. Как страшное чудовище, поднялось оно внезапно, грозно разрастаясь, простирая тысячу рук, выжидая, скрючившись, минуты прыжка.

— Хоть бы уж Пасха прошла,—шептали бледные женщины, боязливо считая дни. Среда, четверг прошли. Еще два опасных дня остались: Страстная пятница, Страстная суббота. Когда православные не будут уж поститься, когда яйца и ветчина

наполнят отощавшие желудки, нервы не будут так напряжены. Сытый становится мягок и ленив. Еще один страшный день.

И вот в Страстную субботу вечером разразилась гроза. Вначале это была лишь мальчишеская проделка; мальчишки толпой пришли из другой части города, выбили стекла у одного лавочника: «проклятый жид, христоубийца!»

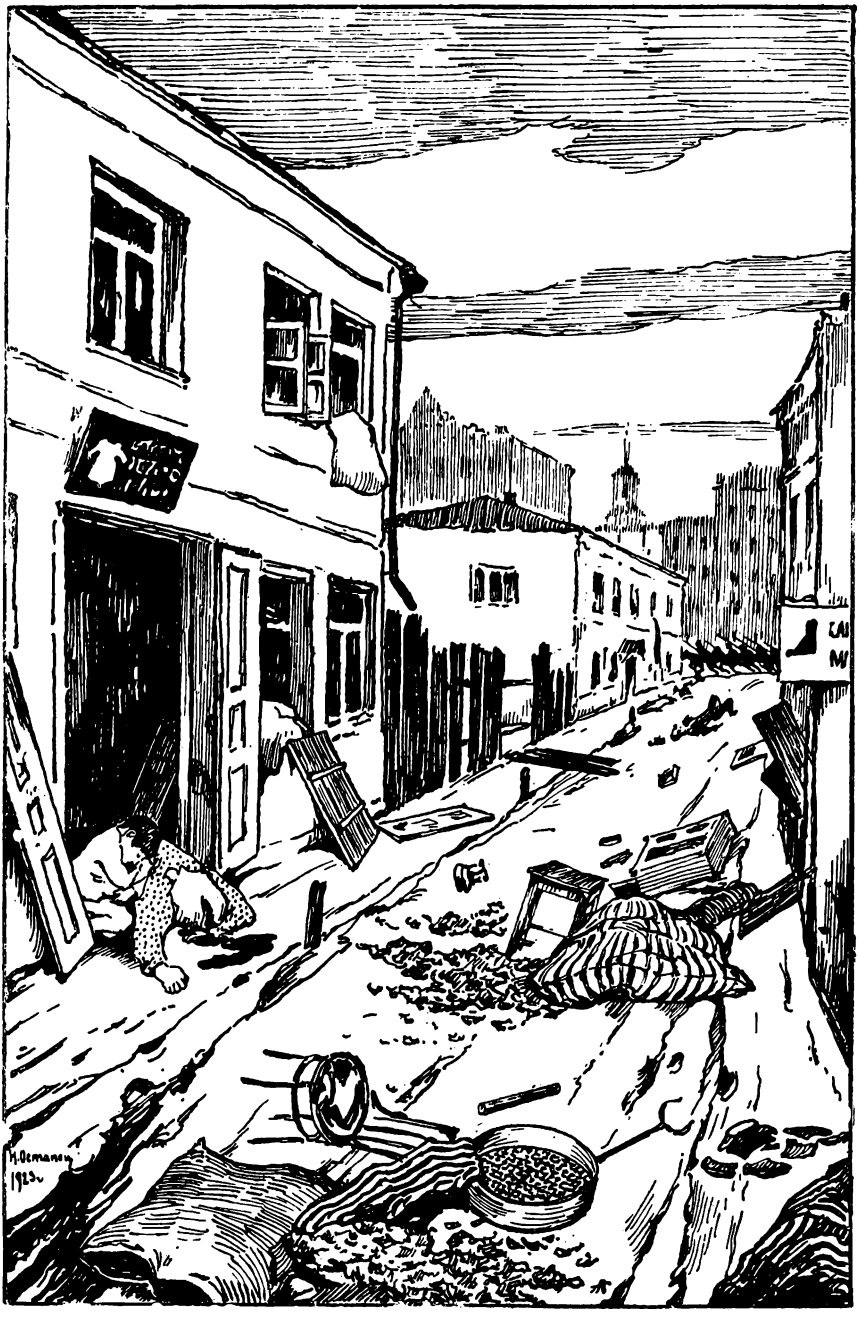
Это лишь был сигнал. Черные массы, вооруженные дубинами, револьверами, с ревом устремились в узкие улицы, бушуя, свирепея, на все нападая. Они врывались в дома, и дикие крики и вопли неслись оттуда. Глухие удары прорезывали воздух. Плачущие дети, как обезумевшие, бегали по улицам. Грубые руки схватывали длинные черные косы, женские тела падали, и с ревом набрасывались на них озверелые люди. Первый убитый, какой-то старик, как бы превратил озлобление насильников в какое-то неистовство. «Бей их, собак, паршивых жидов!» Тысяча голосов слилась в один рев, тысяча рук превратилась в одну страшную, жаждущую крови руку, тысяча душ—в одну ярость. Черный поток все заливал; спасенья не было. Кто защищался голыми руками,—у жертв не было никакого оружия,—падал под ударами, кто молил пощады, подвергался той же участи. Затаенный против кого-то гнев, справедливая против кого-то другого ненависть—искусной рукой направлены были против невинных, дабы укрыть виновных.

Вековое угнетение разразилось против угнетенных же вместо угнетателей. Темные бессознательные люди явились орудием в бесчеловечных руках.

Как всегда, казаки явились слишком поздно. Лошади их скакали по трупам, нагайки свистали над умирающими. Черный поток отпрянул, исчез; он свое дело сделал. Мертвые тела с размозженными черепами лежали между развалинами жилищ, раненые, истерзанные стонали в концах улиц. Сквозь открытые двери темнели разрушенные внутренности жилищ. Обезумевшие люди разыскивали своих близких среди развалин и обломков. Смеркалось. Из черной тишины рвался полный отчаяния нечеловеческий вопль.

И вдруг раздался трезвон на всех колокольнях города. Светлый праздник—Христос воскрес!

Приходили любопытные: одни сочувствующие, другие злорадствующие, все возбужденные, как бы смакуя ужас.



На пороге одного дома лежала старуха с размозженным черепом; возле нее скрючился, всхлипывая малыш.

Пришла и Надя в своем лучшем праздничном наряде с нарумяненными щеками и подведенными глазами. Она шла осторожно, приподнимая юбку, ступая своими новыми ботинками по крови и грязи. Казацкие офицеры знали ее, кивали ей, посмеиваясь, когда она протискивалась между рядами. Она улыбалась неподвижной, немного презрительной улыбкой, от времени до времени вздрагивала при виде трупа и все-таки шла дальше, подталкиваемая каким-то нездоровым любопытством.

На пороге одного дома лежала старуха с размозженным черепом; возле нее скрючился, всхлипывая, малыш. Надя остановилась. Ребенок заметил ее, подбежал, уцепился за ее платье, пряча головку в ее коленях. Невольно Надя нагнулась к нему, гладя маленькую, чернокудрую головку. «О чем ты плачешь, голубчик?»

Захлебываясь от прерывистых рыданий, мальчик пробормотал:

— Они... бабушку... убили ..

— Где твой отец?

— Далеко: за стенами, в Сибири...

— А мать твоя?

— Умерла.

— У тебя нет никого на свете?

— Только бабушка.

Надя бросила растерянный взгляд на мертвую старуху, а затем осмотрела мальчика. Одно на свете, это бедное маленькое существо, брошенное на произвол насытившихся кровью людей. Любопытство и отвращение постепенно уступили в ней место глухому гневу, в котором она не отдавала себе точного отчета.

Дитя продолжало цепляться за ее платье своими крохотными ручонками:—Возьми меня. Я боюсь.

Надя еще раз уставилась на мертвую женщину, и вдруг у нее слезы навернулись на глаза.—Что же мне с тобой делать, голубчик мой миленький? Мне ведь маленький мальчик не нужен.

— Возьми меня, мне страшно!

Казачий офицер подошел к ним:

— Да прогоните же это жидовское отродье, Надежда Федоровна.

Что-то животное в тоне жесткого насмешливого голоса возбудило женщину.

— А почему?

— Что общего между нашей красавицей Надей и этим пархачом?

— Возьми меня!—тихо молил испуганный детский голос.

— Можно мне взять малыша к себе, Григорий Степанович?

Надя вряд ли сама знала, что толкнуло ее на этот вопрос: холодная ли насмешка в лице этого человека, или страх ребенка, цеплявшегося за ее колени.

— Конечно, но не понимаю...

— Да вы многого не понимаете!

Почему она, верующая, «истинно-русская», вдруг почувствовала себя заодно с этим ребенком отверженного народа? Почему видела она в стоящем перед нею человеке врага, высокомерного, дерзкого угнетателя?

Давно забытые образы завертелись в бешеном танце в ее мозгу. Тесный, дурнопахнущий подвал, маленькая девочка с длинными непокорными волосами, светловолосый мальчик, приносивший ей яблоки, холодная зимняя ночь, светловолосый юноша в студенческом мундире, окруженный казаками. «Прощай, Надичка!» Казаки схватывают его, оттаскивают прочь, казаки...

— Вы многого не понимаете,—сухо повторяет она и хватает ребенка за руку.—Идем, крошка, я тебя возьму с собой.

Ведя ребенка за руку, она прокладывает себе дорогу; высокомерно, вызывающе... Мальчик перестает плакать, крепко держится за ее руку, растерянно и в то же время доверчиво глядя на нее. На углу улицы ждет извощик Нади. Глаза ребенка загораются. Он никогда еще не ездил на дрожках.

— Как же тебя зовут?—спрашивает Надя.

— Мойша.

Она вздрагивает.—Ну, нет, это не годится. Все надо мной будут смеяться. Отныне тебя зовут Иван, понимаешь?

Дитя испуганно кивает.

Ночь спускается над городом. В еврейском квартале боязливые тени крадутся из углов и уносят своих мертвых. Сдавленное, негромкое рыдание проносится по улицам. В отдалении звонят пасхальные колокола.

ГЛАВА ВТОРАЯ

— Христос воскресе! Толстый нижегородский купец целует Надю в лоб.

Воистину воскресе,—благочестиво отвечает Надя и прибавляет:

А что вы привезли мне, Михайло Михаилович?

Он смеется и неуклюже стаскивает тяжелую шубу.

— Прекрасные вещи, голубушка, кольцо с черным жемчугом да старинные часы. Продавец сказал, что они служили еще первому французскому королю.

Он бросается в удобное кресло, кряхтит и осклабившись смотрит на Надю.

Надя растягивается на кушетке, пуская голубые клубы дыма в воздух, и играет жемчугом, украшающим ее шею. Она усмехается немного смущенно.

— Михайло...

— Что, голубушка?

— А у нас погром был.

— Так-с.

— Убили около трехсот евреев.

— Это ничего. Их все еще слишком много.

Надя бросает быстрый взор на тяжелую шелковую портьеру, за которой что-то движется.

— Маленькие дети потеряли при этом всех своих родных.

— Что-ж, нужно покориться божьей воле!

Тонкие пальцы Нади нетерпеливо барабанят по столу.

— Совсем крохотные дети, Михайло Михайлыч.

Толстый купец беспокойно ерзает на стуле. Надя сбоку посматривает на него.

— Вы не переносите маленьких детей?

Странное выражение мелькает на лице толстого купца, что-то вроде пугливого гнева. Однако он отвечает равнодушно:

— Все раньше или позже теряют своих родителей.

Надя внезапно усаживается.

— Знаете, Михайло Михайлыч, что Григорий Степаныч давеча сказал про вас?

— Что же?

— Что вы не русский, а крещеный жид!

Лицо толстого купца внезапно темно багровеет, он яростно сопит, отворачивая глаза от Нади:— Проклятый пес! Так врать! Я—жид! Это...

Надя громко хохочет. Лукавая черточка ложится около ее маленького рта.—Иди сюда, Ваня!—зовет она.

Портьера отодвигается, и ребенок входит в комнату. Это уж не маленький Мойша, грязный, неумытый, в рваном платье, это Ваня в черном бархатном костюмчике с большим кружевным воротником, хорошо причесанный, умытый. Большие черные глаза, правда, смотрят еще испуганно, но ребенок доверчиво бежит к Наде.

— Это что такое?—Михайло Михайлыч оторопело уставился на маленькое, неожиданно ворвавшееся, существо.

— Это еврейское дитя,—отчеканивает Надя каждое слово,— они убили у него единственную, остававшуюся еще в живых родственницу. Я его забрала к себе. Вы на меня не сердитесь, Михайло Михайлыч?

Вопросительно смотрит она на толстого купца, готовая разразиться гневом при малейшем возражении. Но тот как бы забыл окружающее. Неподвижно уставились его глаза на бледное личико, пронизывая нежные черты, выдающие, несмотря на свою незрелость, расу. Жирные руки, усеянные бриллиантовыми кольцами, дрожат, он громко сопит.

— Ну?—голос Нади звучит нетерпеливо.

Толстый купец вытаскивает платок и звучно сморкается. Затем он бормочет про себя:—Жидовское дите? Сиротка?

И вдруг миролюбивый взмах руки заканчивает вспышку гнева:—Да побей их бог! Эх!

Надя довольно смеется.—Вы, значит, не сердитесь, Михаил?

Искреннее чувство внезапно придает одутловатому багровому лицу выражение достоинства.

— Господь тебя вознаградит, голубушка. И... ежели тебе чего понадобится...

* * *

Так и остался Ваня у Нади, стал спать в мягкой постельке, сытно ел, получал от Надиных друзей роскошные игрушки и постепенно становился избалованным барченком.

Первые недели пережитого еще тяжелым гнетом лежали на нем. Он пугался при звуке громких голосов, не хотел выходить на улицу, с криком вскакивал ночью во время сна. Плакал он также по бабушке, по верной, неустанной нежности, которая охраняла его детство. Надя была с ним добра и нежна, но никогда не находила времени, чтобы позаняться им. Ребенок проводил целые дни один в отведенной ему прекрасной, светлой комнате.

Спустя несколько месяцев забвение черным покрывалом окутало мысли Вани. Он не знал другой жизни, вне уютного изобилья красивого дома, не помнил, как он голодал и мерз, как с криками «паршивый жиденок!» преследовали его и бросали в него каменьями мальчишки на улице.

В роскошной спальне Нади висел в углу образ, перед которым день и ночь теплилась лампада. Надя учила ребенка склоняться перед образом и креститься.

— Кто эта женщина с ребенком?—спросил как-то Ваня.

— Это—божья матерь.

— А кто это, божья матерь?

Надя смущенно засмеялась.

— Мать спасителя. Если ты будешь хорошим и честным, она тебя всегда будет охранять.

— А тебя она охраняет?

— Она меня помилует.

— А ты честная и хорошая?

Красивое лицо прижалось к кудрявой головке и покрылось багровым румянцем.

— Нет, Иванушка...

* * *

Прошло два года. Ване было уже шесть лет. Он превратился в худенького мальчика с бледным личиком и сверкающими черными глазами. Время прошло для него, как сон. Два дивных лета в Петергофе, где ему можно было купаться и играть у моря; две зимы в городе. Наступила третья весна его жизни у Нади. И тут, неизвестно почему, ему показалось, что все как-то внезапно переменилось: многочисленные гости, наполнявшие смехом гостинную, пившие шампанское, как-то постепенно исчезали. Сама Надя, прежде никогда не оставававшаяся дома, когда не было гостей, теперь по целым дням сидела

одна в своей спальне, лежала устало и хмуро на кровати, подолгу смотрелась в зеркало и по временам плакала, что особенно пугало Ваню. Она кашляла, худела и часто проникалась какой-то нетерпеливой тревогой, которая передавалась и Ване.

Раз он застал ее перед зеркалом, водящей по щекам какою-то розовою кисточкой. Одна щека была бледна, другая же яркорозовая. Это ему показалось таким смешным, что он звонко расхохотался. Надя швырнула кисточку на пол, спрятала лицо в руки и залилась слезами:

— И ты уже это видишь!.. Я выгляжу старой ведьмой... Николай Тихонович сказал мне вчера: «Вам нужно полечиться, Надя». Я знаю, что это значит. Никому я больше не нужна. А раньше они на коленях ползали передо мною, эти псы! А ты смеешься, злой мальчик! Не будешь ты смеяться, когда мы станем голодать, да мерзнуть где-нибудь на чердаке.

Она вскочила, отошла от зеркала и трясущимися руками сорвала с себя капот.—На, смотри, на эти кости, эту впалую грудь! Конец уже мне пришел, конец! Нам побираться впору. А ты смеешься!

Перепуганный ребенок заплакал. Надя опустилась перед ним на колени.—Не плачь, миленький, не плачь, голубчик. Я тебя не покину. Я напишу в Нижний, Михаилу Михайловичу, чтоб он нас в теплые края послал. А как вернусь я оттуда здоровой да красивой, уж покажу я им всем, собакам! Не плачь, Иванушка!

Письмо было отправлено, но ответ получился, писанный не крючковатым почерком Михаила Михайловича. Мелкий женский почерк сообщил Наде, что ее непонятное письмо получили, что здесь произошло наверное какое-то недоразумение, что покойный Михаил Михайлович никогда в жизни, а тем более после женитьбы своей, не имел дела с «продажными женщинами».

* * *

Настало лето. Удушливый тяжелый зной висел над городом. Солнце накаливало мостовую; улицы опустели. Надя все чаще плакала. Часто приходили какие-то мужчины, которые показывали какие-то длинные листы бумаги и как будто требовали что-то, и красные стены оглашались грубыми сло-

вами и бранью. Ваня испуганно забивался в уголок и выходил лишь тогда, когда чужие люди уходили.

Однажды Надя стала укладываться. Ваня обрадовался, увидав среди спальни большой сундук.

— Мы к морю едем?— радостно спросил он.

Надя зло рассмеялась.—К морю! Ну, конечно, я сняла дворец у моря. Мы ведь важные баре! Знаешь, куда мы переезжаем? Туда, откуда мы с тобой приехали, в грязь, в помойку!

И она заплакала, закашлялась и стала беспорядочно швырять в сундук платье, белье и обувь.

Оборванный извозчик привез Надю и мальчика в их новое жилье. Никто из слуг не провожал их. Ванька остановился в тесном вонючем переулке. Извозчик потащил сундук вверх по бесчисленным ступенькам грязной лестницы и втащил его в тесную комнатку, которую он почти заполнил. Затем он поворчал, получив черезчур скудно «на чаек», и тяжело стал спускаться с лестницы. Шум его шагов глухо отдавался в тесных стенах.

Ваня огляделся в комнате. Кровать, умывальник, два стула и маленький хромоногий стол. На грязных стенах—сырость расписала причудливые узоры; потолок весь закопченный. Воздух весь пропитан капустой и помоями. Гнетущий страх охватил мальчика; все это он уже видел когда-то, но еще чего-то не хватало. Почему-то думалось ему, что дверь раскроется, и злые люди ворвутся с ревом, с проклятиями, с угрозами. Внезапно он почувствовал себя совсем маленьким, покинутым. Он прижался к молодой женщине, как бы ища у нее защиты. Она стояла среди комнаты, беспомощно опустив судорожно сжатые руки. Глаза неподвижно уставились в одну точку, легкое хрипение вырывалось из горла. Как тягостна была эта тишина. Хоть бы она сказала одно слово!

— Мамочка!—он дернул ее за платье. Она как будто не заметила этого, глядя расширенными, полными отчаяния глазами на стену.

— Мамочка, а где же я буду спать?

Она хрипло рассмеялась.—Да, мой принц, где ты будешь спать? На стуле, на столе, на полу возле моей кровати!

Она сильно закашлялась и внезапно, преодолевая себя, прибавила:—Не печалься, Иванушка, все наладится, и тогда мы купим большой дом и заживем лучше прежнего.

Она подошла к сундуку и выбросила небрежно платье и белье на грязный пол и между вещами нащупала что-то. Это была икона. Она нашла крюк на стене, повесила ее и вдруг рассмеялась весело, как ребенок.

— Она принесет нам счастье, Иванушка, я уже лучше чувствую себя. Открой только окно, здесь можно задохнуться.

Она зашаталась, дотащилась, цепляясь за мебель, до кровати и повалилась без сознания на грязную, грубую постель.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Маленький Ваня—проворный мальчик, он почти заменяет Наде ее Софью. Он находит нужное платье в сундуке,—шкафа нет в комнате,—умеет застегивать крючки, расчесывать ее тонкие густые волосы, когда Надя сама слишком слаба для этого. Он научился также приготовлять чай, бегает за хлебом и исполняет много других поручений.

Он так же быстро забыл красивый дом и свою светлую просторную комнату, как и тот дом, в котором протекли первые годы его жизни, и чувствует себя чуть ли не счастливее, чем раньше. Надя целые дни остается дома, лежит большей частью в кровати и болтает с ним, рассказывая ему сказки из того отдаленного времени, когда она сама еще была маленькой девочкой. Если б только не было ночей, этих одиноких ночей...

Вечером Надя одевается, укладывает его и уходит. Едва только мальчик остается один, его начинает осаждать какой-то непонятный страх, привидения, возникающие в его памяти. Не скрипит ли лестница? Не раздаются ли глухие шаги? Кто это крадется к дверям? Вот они раскрываются. Что-то страшное произойдет! Весь дрожа, он закрывается в одеяло, крепко зажимая глаза и не смея двигаться, пока, наконец, не приходит желанный сон.

Поздно ночью или рано утром будят его Надины тяжелые шаги по ступенькам лестницы. Она вваливается в комнату, едва держась на ногах, дрожа от усталости, с пылающими щеками и лихорадочно горящими глазами. Он выскакивает из кровати, помогает ей раздеться, бережно укутывает ее и, сам завернувшись в одеяло, ложится у нее в ногах. Иногда она бормочет уже в полусне:—Спокойной ночи, Иванушка, завтра мы досыта поедим,—и засыпает, не успев докончить фразы.

Порою же она возвращается домой уже часа через два, и Ваня уже заранее со страхом ожидает в такие вечера полного отчаяния, плача.—Мы опять будем голодать. Он сидит тогда возле нее на кровати, гладит плачущую женщину, целует ее горячие руки и не может придумать способа успокоить ее.

Дни становятся все короче, все холоднее. Резкий ветер прорезывает улицу. Надя возвращается теперь вся закоченевшая и дрожащая от мороза.

Однажды вечером она возвратилась не одна.

Отталкивающий, грубый с виду человек входит с нею в комнату.—У тебя и мальчик есть?—восклицает он со смехом, увидев Ваню. Надя в ответ тоже смеется, и Ваня удивляется ее веселости.

— Что ж, этот клоп останется здесь?—спрашивает мужчина с досадой в голосе.

— Что вы, господь с вами!—испуганно возражает Надя.— Иванушка, голубчик, выйди на минутку за дверь. Я... мне нужно поговорить с этим господином.

— Го, го, го, поговорить!—ржет мужчина с восторгом.

— И придешь когда позову!

Ваня повинуется. Он сидит на пороге в темном корридоре и боязливо прислушивается к каждому шороху. Не сделает ли этот человек чего-нибудь плохого мамочке? Почему они оба так много смеются? Мальчик дрожит от холода и страха и наконец начинает плакать. Как долго они говорят! Но почему же теперь не слышно их голосов? Наверное, этот человек обижает мамочку! Внезапный гнев охватывает его. Почему должен он здесь сидеть один и мерзнуть, а этот чужой в комнате, в тепле? В его усталой головке мелькает неясная мысль, что он всегда сидел здесь, в корридоре, один, и мерз в темноте, не сегодняшний только вечер, а много много вечеров, годы, всегда. И это всегда так и останется.

Другие будут уютно сидеть в светлой теплой комнате и смеяться. А он будет сидеть в темноте и плакать.

Однажды он видел у Нади молодого человека, с бледным лицом и дикими глазами, который громко и гневно кричал: —Вы здесь пьете и пируете, а на улице у дверей вашего дома стонет и плачет народ!

Усталые глаза слипаются, неясные образы проносятся в его мозгу: мать, плачущая об убитом сыне, плачущий народ... все плачут... все ...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Наступает весна. Даже в тесные, вонючие улицы проникает солнце; лучи его взбираются вдоль стен, падают через глухое оконце в Надину комнату. Она поставила кровать у самого окна, простирает свои прозрачные руки навстречу солнечным лучам и радуется синему небу, кусочек которого виднеется между крышами и дымовыми трубами.

Вот уже шесть недель, как она не встает с кровати.—Я не больна,—все уверяет она Ваню,—я только ужасно устала. Вот настанет май, и я встану и буду совсем здорова.

По целым дням лежит она неподвижно, по временам тихонько стонет и еле отвечает на боязливые вопросы мальчика. К вечеру темно-красный румянец заливает ее щеки, она оживляется, начинает говорить без умолку хриплым голосом. Часто ее слова непонятны Ване. По временам она как-будто забывает, где она, зовет свою Софью, требует «новое парижское платье». То она смеется с каким-то особым задором, смеется над людьми, которых как будто видит пред собой, требует шампанского, болтает о больших городах, о чужих странах.

Она совершенно довольна, лишь, по временам, когда лихорадка не совсем одолевает ее, она становится беспокойной, бормочет про себя испуганно: —Дитя,—что с ним будет?

Соседи очень добры к ним обоим. Горбатая жена сапожника ежедневно приносит им супу, а толстая Настя с накрашенными щеками, живущая на четвертом этаже, часто сует Ване в руку рубль, чтобы он купил чего-нибудь для Нади. Она приходит к больной, перестилает ее постель, сидит, болтая, около нее. Это она же научила Ваню играть немного на балалайке и петь несколько любовных песен. Она посылает его петь на улицу, чтобы он принес немного денег.

Ваня бродит по тесным переулкам, поет слабым детским голосом по дворам и площадям, и беднота делится с ним своим добром: подают ему копейки, пирога, а подчас ему даже перепадает и кусок мяса.

Сумерки мягко ложатся в тесной каморке, последний проблеск света застрял на маленьком зеркальце, которое ярко блестит в сумраке. Настя сидит у Надиной кровати. Она уж готова, чтобы пойти «на работу», накрашена, напудрена, затя-

нута. Озабоченным взглядом смотрит она на больную, дыханье которой тяжело, с хрипом поднимает больную грудь. Настя выпила; изо рта ее несется запах водки. Тяжелая грусть гнетет ее.

Настя сидит у Надиной кровати... Озабоченным взглядом смотрит она на больную.

— Собачья жизнь!—вздыхает она.—И когда подумаешь о конц'...

Надя молчит.

— А в церкви никто не хочет стоять возле меня, —продолжает Настя, —а чем я хуже их? Краду я разве или обижаю кого-нибудь? В бога не верю?

Последний отблеск света тухнет, светящееся зеркало темнеет и становится мертвым серым пятном.

— Надя, ты бы позвала священника.

— А зачем?

— Как знать? Господь простит тебе, голубушка, твои прегрешения. А так, без попа, без покаяния умирать ведь не годится. Не скоты же мы...

— Умирать? —слабый голос Нади надтреснуто звенит, —кто говорит о смерти?

— Милая моя, —грубая, красная рука успокаивающе гладит одеяло, —ты же сама знаешь, что не жилица ты... Ведь на лице твоем уж смерть видна. И отчего ты так жить хочешь? Разве жизнь так уж ласкова для нашей сестры?

Исхудалая рука Нади схватывает руку Насти, впивается в нее. —Не хочу я умирать, Настенька, не хочу. Ох, хороша жизнь! Я так ведь еще молода! Держи меня, Настенька, крепко. Мне страшно!

Несколько испуганная действием своих слов Настя прижимает больную к себе. —Не бойся, родная! Это я так только, потому что ты уж очень похожа стала на Наташу покойную, что месяц тому померла.

— А Ваня? —Надя заливается слезами. —Что с ним станется, когда я умру? Ведь маленький же он совсем.

— Да мы его не оставим, —успокаивает ее Настя. —А то в сиротский можно.

Но Надя не слушает ее. Неподвижными глазами уставилась она перед собой; мелкая дрожь охватывает ее тело; зубы стучат, как в лихорадке: —Помирать! помирать!

* * *

Ваня приносит домой полный карман денег. Весеннее ли солнышко смягчило души или теплый ветерок навеял людям легкомысленное великодушие? Каждый из прохожих давал ему, и не копейки одни, а и серебряную мелочь, даже целый рубль вытряхивает он однажды на Надину кровать.

— Завтра ты хорошо поешь, мамочка, молока и пирогов, а Настя нам сварит щи!—радостно восклицает он, обвивая руками ее шею.

Ты рада, мамочка?

— Да, Иванушка.

— И тогда ты уж не будешь усталая, ты встанешь и выйдешь со мной на солнышко. Правда, мамочка?

— Да, мой родной.

Ваня карабкается на кровать.—Мамочка, сегодня на улице мальчишки бежали за каким-то маленьким мальчиком, бросали в него каменьями и кричали—паршивый жиденыш! Они хотели, чтобы и я бросал каменьями в него, но мне жалко стало, потому что мальчик так плакал! Почему они преследовали его, мамочка? Что он плохого сделал?

Надя обвивает рукой шею мальчика, губы ее дрожат, как в черном тумане встает перед ней жуткая картина: Размозженные черепа... Окровавленные трупы... Маленький чернокудрый ребенок, плачущий возле мертвой женщины...

— Отчего ты плачешь, мамочка?..

— Иванушка, обещай мне, что никогда не пойдешь с этими злыми мальчишками и не будешь бросать каменьями. И не будешь кричать «паршивый жид», обещай мне, Ваничка.

Неясная мысль проносится в усталой голове.—И тогда мне старуха простит, что маленький Мойша божьей матери молится.

— Да, мамочка.

— Никогда нельзя быть злым к слабым, Ваничка. Всегда им помогай. Надо всех людей любить, Иванушка.

— И злых, мамочка?

Большие глаза дико сверкают на измученном болезненном лице, пронзительная дрожь слышится в усталом голосе, лихорадочно горящие руки больно сжимают детскую ручонку.

— Нет, Иванушка,—злых ненавидь. Злых людей, которые нас зверями делают, а потом презирают, которые нас голодом моряг, убивают у малых детэк родителей, злых людей, что властвуют над нами, сами живут богато и счастливо, а наших друзей в Сибирь ссылают, этих ненавидь. Всю свою жизнь борись с ними, чтобы уничтожить их.

Голос ее обрывается, обессилевшая, она откидывается на подушку.

Мальчик не понимает ее слов, но чувствует, что она ждет ответа: —Да, мамочка,— серьезно кивает он головой.

— А теперь спи, родной! Я очень устала.

— Спокойной ночи, мамочка милая, завтра будет хороший день.

* * *

В тесной каморке еще совсем темно, когда Ваня чувствует вдруг, что его ухватили за плечо и сильно трясут. Он с трудом раскрывает слипающиеся глаза.—Уже поздно, мамочка? Я встаю сейчас.

Какой-то чужой голос хрипит.—Иван, мне душно!.. Зажги свет!..

Весь дрожа, зажигает он свечку.

Надя сидит на кровати и, задыхаясь и ловя воздух, стонет; с хрипом вздымается ее грудь. Слезы текут из неподвижных, полных ужаса глаз.

Беспомощно стоит ребенок перед нею.—Что с тобой, мамочка? Что нужно сделать?..

— Я помираю, Иванушка, помираю,—вырывается плач у больной.

Ребенок начинает также громко плакать.

— Я позову Настю,—сквозь рыданья говорит он.

— Скорей, скорей!

Ваня стремглав несется по лестнице и стучит в дверь толстой девушки. Дверь заперта.—Настя! Настя!..

— Чего тебе?

— Беги скорее... мамочка... она помирает!

Мужской голос ревет:—Проклятье! Не дадут поспать спокойно! Ну, и пусть помирает!

Испуганный голос Насти отвечает:—Сейчас, Ваня, иду! — и продолжает гневно:—молчи, скотина!

Ваня бегом возвращается. Надя лежит хрипя, из углов рта текут алые струйки. Она судорожно цепляется за руку ребенка.

— Ваня... Страшно... Душно... Молись...—и видя, что перепуганный до смерти мальчик безмолвно стоит, она, задыхаясь и собирая последние силы, настойчиво шепчет еще раз:—Молись!..

В детской головке целый водоворот мыслей. Молиться? Он не находит слов... Какая-то пустота. Звездочки прыгают перед его глазами. Холодный пот выступает на лбу.

И снова режет слух пронзительный, полный мольбы шопот:— Молись за меня! Молитесь-же!

* * *

День, которому заранее так радовался Ваня, наступил. Но мамочка не хочет ни молока, ни пирогов. Она лежит вся белая и неподвижная в солнечном свете. Настя сложила ей руки на груди и поставила две горящих свечи возле нее.

Несмотря на ранний час, Настя совершенно пьяна. Она плачет, стоя на коленях у кровати, бормочет бессвязные слова и от времени до времени опрокидывает в себя рюмку водки.

Ваня прижался испуганно в уголок. Горбатая жена сапожника приносит цветы и кладет их на Надину грудь:—Пусть и она, бедненькая, весну чувствует.

Комната все более озаряется светом. Перед кроватью молится пьяная девушка. Слова путаются у нее на языке.—Молись, Дева святая, за нее, молись, заступница, за святую... Дева... молись...

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Бесконечно тянется Невский проспект в холодном свете белой июльской ночи. Громады домов, подобно огромным теням, вздымаются к свинцовым небесам; вдали угрожающе темнеет зловещая масса Адмиралтейской башни. Дрожки снуют повсюду, автомобили дико ревут, люди спешат взад и вперед. Ни день, ни ночь. Эти часы, ведущие почти без перехода от вечера до утра, наполнены чем-то враждебным, неуютным.

Несмотря на такое оживление, город кажется каким-то местом привидений, где тени господствуют над улицами, где мертвые, освобожденные из гроба, с шумом и гамом празднуют свое короткое воскресенье.

Первый отблеск зари на востоке является избавлением от власти темных сил, переходное царство рушится, исчезает, живой город живых людей простирается навстречу солнцу.

Люди гурьбой выходят из театров, возвращаются с островов. То здесь, то там полицейский делает свой обход, и темные фигуры ныряют в тень домов.

На углу улицы стоит мальчик с балалайкой; заглушенно и фальшиво звучат струны, и тонкий детский голосок поет:

Очи черные, очи страстные!

Странно звучит заунывная страстная песня на детских устах. Маленькие пальчики устали и играют фальшиво. Резкие ноты прорезают ночь, и все хриплее звучит слабый голосок.

Большинство прохожих не обращают на него никакого внимания: поздно уж, людей тянет в теплую кровать; какое дело им до чужого ребенка?

Пьяный матрос подходит, шатаясь.

— Да спой ты, братец, что-нибудь другое. Вот уже полчаса, как тянешь все ту же канитель.

— Я не знаю другой песни.

— Стой, я тебе просвищу другую, слушай.

Матрос прислоняется к стене, и запрещенные звуки революционной песни вызывающе разносятся по улице.

— Вот, и пой так,—говорит он:

Слезами залит мир безбрежный,
Вся наша жизнь тяжелый труд.
Но день настанет неизбежный,
Неумолимый грозный суд.

Женская фигура быстро подходит.—Гриша, ты спятил. Уйдем скорее!

Она хватает матроса за руку, хочет его оттащить.

— Да подожди, голубушка! Надо же копеечку дать пареньку. Вот тебе, сыночек, да выучи ты другую, пожалуйста, песню.

Городовой быстро приближается. Матрос и женщина исчезают в переулке.

— Это ты свистал?—кричит городовой Ване.

— Нет, ваше благородие, ей-Богу, я и не умею свистать...

— Так, ну погоди! Счастье твое, что я человек добрый... Городовой не очень то крепко стоит на ногах. Он умиляется при мысли о собственной доброте.—Душа-человек,—спроси всякого, кто меня знает, какой человек Сергей Степанович!

Он вытаскивает носовой платок и громко сморкается.

— Да, парень, душа-человек, а должен такую собачью должность исполнять. Да вот, хоть теперь, прямо душа болит, когда смотрю на тебя. Ведь тебе давно спать пора!

Двугривенный скользит в руку Вани. Тяжело ступая, городовой удаляется.

Ваня считает деньги, гривенник, двугривенный, копейка, полтинник—мало еще.—Принеси пять целковых,—сказала ему

вчера вечером Настя.—Завтра нужно платить за квартиру. Тогда только тебе можно будет спать лечь.

Нет, нельзя еще домой идти. Настя будет ругаться. Не потому боится он ее, что она злая и бьет его, но она так страшно кричит, когда сердится, этого крика Ваня больше всего страшится. А когда он не приносит достаточно денег, она грозит сиротским домом, «где бьют и заставляют молиться по целым дням». Может-быть, она еще не вернулась домой, и ему придется ждать в темном корридоре.

Он зевает, продирает слипающиеся глаза.

Очи черные,
Очи страстные...

Одна струна обрывается с жалобным стоном. Это уж вторая сегодня. Теперь ему придется собрать больше пяти рублей. Надо ведь и струны купить, а они дорого стоят.

Маленькие закоченелые пальцы ударяют по оставшимся струнам, и еще жалобнее прежнего звучит аккомпанимент к пронзительным безнадежным звукам:

Знать в недобрый час
Я увидел вас.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Стол был уже накрыт. Толстая, коренастая «Mädchen für alles»*) спешно вытерла еще один стакан полотенцем довольно сомнительной чистоты, вздохнула, потерла закоченевшую ногу о ножку стула и пошла звать господ на обед. Вся семья сидела вокруг стола, освещенного керосиновой лампой (в маленьком восточно-прусском городке еще не было электричества). Госпожа Зельдер штопала чулки, трое старших детей—Фридрих, Густав и Ильза готовили уроки, маленькая Лепа играла со своей куклой, учитель гимназии сидел перед кучей школьных тетрадей и, нахмурившись, читал письмо.

В комнате был спертый воздух, в котором чувствовалась пыль старой плюшевой мебели и поношенных шерстяных платьев. Из кухни врывался запах готовящегося кушанья. Лица были нахмурены, старшие дети работали неохотно, со скучающим видом, лицо фрау Зельдер было усталое и озабоченное, сам

*) Девушка, служащая «одной прислугой».

господин Зельдер был чем-то раздражен, и лишь бледное детское личико Лены было весело и довольно.

За столом было сначала всеобщее молчание. Когда у отца был такой раздраженный вид, было благоразумнее вести себя спокойно.

Наконец, он прервал молчание. Прочитав полученное письмо вторично, он заметил раздраженно-жестким скрипучим голосом:

— Маргарита скоро приезжает!

— Боже, теперь, зимою! А печка в гостиной не в порядке.

Лицо Фрау Зельдер стало еще более озабоченным.

— Да, и привозит с собой какого-то ребенка!

— Ребенка?

— Она, кажется, совсем помешалась, моя милая сестрица. Вот что получается, когда женщина вместо того, чтобы выйти замуж, бродит по свету да дает концерты. При этом она неизбежно должна терять всякое чувство приличия. Сиди прямо, Густав: немецкий мальчик не должен сгибаться. Я вам прочту письмо. Не стучите так, дети, приборами, вы мне мешаете!

Четыре пары любопытных детских глаз уставились на отца, когда он начал читать. Читал он тем неодобрительно насмешливым тоном, каким он обычно читал в классе плохие работы учеников, чтобы пристыдить их перед всем классом.

«Дорогие родные!

Мной овладела неожиданная тоска по маленьком старом гнездышке, и я скоро навещу вас. Надеюсь, что мой приезд не будет некстати. Перед своим отъездом в Америку я охотно отдохну у вас и повидаю детей. На сей раз я приезжаю не одна: я привезу с собой маленького приемного сынка, для которого прошу у вас гостеприимства. Это маленький русский, которого я буквально подобрала на улице. Он пел и играл на балалайке, и мне кажется, что его можно учить музыке. Так как у этого бедняжки ни души родных, мне было очень легко его усыновить; впрочем, при помощи рубля в России все налаживается. Иван у меня уже четыре месяца и почти все понимает по-немецки; он удивительно умный ребенок, и это особенно приятное разнообразие иметь хоть раз около себя человеческое существо, не стремящееся ни обмануть, ни использовать тебя.

Я, по всей вероятности, буду у вас в первых числах декабря.

Сердечный привет вам и детям.

Ваша сестра Маргарита».

— Русский мальчик!—радостно воскликнула Лена.—Как это весело! Интересно, какой у него вид?

Фрау Зельдер вздохнула:—Твоя сестра действительно странная. Разве ей недостаточно наших детей? Бог знает, откуда этот ребенок.

Учитель гимназии положил себе картофелю и принялся ожесточенно есть. Спустя несколько минут он заметил:

— Если б это была, по крайней мере, девочка, из нее можно было бы сделать прислугу. Русская прислуга особенно верна и преданна. Но мальчик! Конечно, Маргарита была всегда и во всем такая неуравновешенная. Такова же и ее страсть к музыке. Умеренность, ничего лишнего, трезвость во всем,—вот основы жизни.

Дети переглянулись. Они хорошо знали эту отцовскую мудрость: изо дня в день они ее слышали. В кругу своей семьи господин Зельдер говорил всегда афоризмами; это, чувствовал он, его отцовский долг. «Я» господина Зельдера было тщательно подразделено на части. На первом месте стоял «верноподданный», благоговейный почитатель его величества кайзера. Чувство это, как ватой, было заботливо окутано безусловной, не рассуждающей преданностью. Затем—«немец», это было чувство, как жидкость, разлитое во всем его человеческом существе, укрепляя его в уверенности, что он принадлежит к единственно достойной нации, к народу, призванному властвовать, этически возвышенному, отлитому из стали и железа. Сюда отчасти принадлежал и «христианин-лютеранин», верующий в «нашего» бога, бога, представляющего как бы частную собственность немецкого народа, с милостивой улыбкой взирающего на него и на его монарший дом, нечто вроде преображенного Барбароссы, который считал бы себя несчастным, если бы имел мягко-сантиментального сына, неспособного монарха, заискивающего перед массой.

«Учитель гимназии» тоже представлял немаловажную часть души господина Зельдера, по крайней мере, одну из приятнейших, являющуюся ценным дополнением к «верноподданному», так как в ней заключалась и сила, и власть, и авторитет, частица кайзера, частица бога. Кроме того, имелся еще «отец», а последняя, наименьшая часть представляла «супруга». Когда ему приходилось подкрепить какое-нибудь положение, господин Зельдер никогда не говорил: «я», а всегда: «я, как верный подданный

его величества», или «я, как учитель гимназии», или «я, как настоящий немец».

Во всеоружии этих свойств своего «я» поддерживал он строгую дисциплину в своем доме. Жена его, измученная и озлобленная вечными денежными заботами, полная благоговейного преклонения перед знаниями мужа, казавшимися необ'ятными ей при ее скудном ограниченном образовании, с первого же дня своей супружеской жизни вся покорилась его воле. Не осмеливались противоречить отцу и трое старших детей.

Лишь младшая, маленькая Лена, причиняла ему много забот. Он не видел в ней «истинно немецких» черт. Уже одни своевольные темные глаза и упрямые черные локоны плохо гармонировали со всей белокурой, прямоволосой семьей. Кроме того, у этой восьмилетней девчурки уже проявлялась плохая (в минуты гнева господин Зельдер говорил даже «проклятая») привычка ничего не принимать на веру из поучительных афоризмов отца; на упрямых детских устах появлялось вечное «но», а вопросы ребенка часто приводили господина Зельдера в исступление. И теперь нарушила она мирную семейную гармонию, выразившуюся в почти враждебном настроении против Маргариты Зельдер и чужого ребенка. Мать огорченно думает:—Как досадно, что детям придется иметь дело с этим приблудным мальчишкой. Бог знает, откуда он происходит, как он воспитан, какое влияние он может иметь на них. Уличный ребенок!

А маленькая Лена в это время восторженно воскликнула:

— Наконец-то что-нибудь новое!.. Нашу семью я уж так хорошо знаю, мне уж все надоели. Я так буду рада этому русскому мальчику. Я его буду очень любить!

— Елена!

«Отец», «учитель гимназии», «немец»—все заключалось в тоне этого окрика.—Благонравное дитя раньше и прежде всего любит своих родителей, братьев и сестер, затем своих соплеменников. В отношении чужих это чувство неуместно.

— А почему?

Это несносное детское «почему?» Здесь уже приходится призвать на помощь религию.

— Потому что богу угодно, чтобы мы любили наших ближних, которых он нам дал, которые окружают нас.

— Значит нужно любить только свою семью?—последовало вопросительное заключение:

— Да, главным образом!

— А богу угодно лишь то, что хорошо,—продолжала девочка.

Изумленно смотрел почтенный учитель на маленькую девочку:—Ну, да, понятно.

А сегодня только я учила в Библии: и бог любил весь свет. А свет ведь не семья бога.

— Это совсем другое. Главное, не говори слишком много.— И, обращаясь к своей жене, господин Зельдер прибавил раздраженно:

Ты бы лучше выбирала для детей места из Библии, Анни.

Но, папа!

— Молчи, Елена!

Маленький красный язычок высунулся быстро—и к счастью незамеченно,—и непокорный голосок пробормотал негромко:

— Когда ты чего-нибудь не знаешь, я всегда должна молчать!

После ужина Лена вскарабкалась на колени матери.—Мамочка, что значит неуравновешенный?

Не понимая, фрау Зельдер удивленно посмотрела на свою младшую дочь.—Что хочешь ты сказать, Ленхен?

— Папа сказал за столом, что тетя Маргарита неуравновешенная. Это наверно что-то очень хорошее, потому что тетя Маргарита такая милая и добрая. Когда я выросту большая, я тоже буду неуравновешенная!

Фрау Зельдер беспомощно вздохнула. Она не осмелилась позвать на помощь мужа, который в это время со свирепым видом испещрял красными чернилами школьные тетради.

— Пора спать, Ленхен.

Она уложила девочку в кроватку.

Когда она потушила свет и стояла уже на пороге комнаты, в темноте раздался голос Лены:

— Мамочка, а почему...

Фрау Зельдер спешно вышла из комнаты.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Тетя Маргарита приехала. Она внесла с собой струю свежего воздуха и луч света, который обеспокоил строго уравновешенный дом, внес раздражение в среду взрослых членов семьи и вызвал изумление у детей.

Ее взгляды, весь уклад ее жизни выводили из себя ее брата, беспрестанно задававшего себе вопрос, каким образом эта «сумасбродная женщина» может быть его сестрой? Но каждый раз, когда с его уст готово было сорваться слово раздражения, гневное возражение, он во-время вспоминал просьбу своей жены: «Вильгельм, старайся ладить с Маргаритой. Ты же знаешь, как она щедра, и теперь, когда Фридрих вот в будущем году должен поступить на службу... Ее концерты ведь столько вносят»...

И со вздохом проглатывал почтенный учитель рвавшееся с языка выражение его справедливого гнева и кисло улыбался.

Какое-то неясное возбуждение овладело и детьми. Пятнадцатилетняя Ильза с явной завистью рассматривала элегантные туалеты тетки и, несмотря на то, что эта непривычная роскошь ей несколько претила, тайком прокрадывалась в комнату тетки, покрывала себе щеки перед зеркалом слоем розовой пудры, обводила черным карандашем свои светлые брови, обливала духами свой носовой платок.

Фридрих казавшийся себе, благодаря своим восемьнадцати годам, совсем взрослым, важно пытался изобразить перед тетей Маргаритой человека умудренного житейским опытом, но, добродушно осмеянный ею, принял по отношению к ней определенно отрицательную позицию. Оба младших же без боя перешли в противоположный стан. Густав, всегда жадно набрасывающийся на лакомства, не устоял перед соблазном конфект, которые тетя Маргарита так щедро раздавала и, как истый сибарит, с наслаждением разваливался после школьной усталости на бесчисленных шелковых подушках, отнявших у дивана его обычную пуританскую жесткость. В школе же он не переставал хвастать своей «знаменитой» родственницей. Что же касается до Лены, то ее совсем нельзя было оторвать от тетки. Все в тете Маргарите казалось ей сказкой, воплощенной в жизнь, блаженно цеплялась она за единственного человека, который, повидимому, имел ответ на каждое «почему» и который так захватывающе интересно рассказывал о большом неведомом мире.

Ваня чувствовал себя очень неуютно, хоть он и понимал слова, ударявшиеся в его ухо, но все окружающее казалось ему чуждым и угнетающим. Высокий светловолосый господин со скрипящим голосом внушал ему страх, женщина, которая его так настойчиво расспрашивала о его родителях, ставила его в затруднительное положение.

— Кто был твой отец?

— Не знаю. Он был за черными стенами.

— За черными стенами? —фрау Зельдер с недоумением уставилась на мальчика.

— Да, злые люди его посадили в тюрьму.

Багровый румянец залил бледное лицо фрау Зельдер.

— В тюрьму? —И с ужасом подумала:

«Преступник! В нашем честном доме дитя преступника!» И не ожидая уж ничего хорошего, она продолжала допрос:

- А чем вас содержала мать?

- Мамочка? Не знаю. Сначала мы жили в красивом доме, а потом...

Маргарита Зельдер пришла ему на помощь:

— Оставь ребенка в покое, Анни! Расспрашивала я тебя когда-нибудь о твоих родителях?

— Маргарита!..

Негодование резко звучало в голосе фрау Зельдер:—Это же совсем другое дело!—Ты же знаешь, что мой покойный отец был пастором, а мой дед консисториальный советник...

— А твой прадед опять пастор и так далее до самого Адама, я знаю!—Маргарита нетерпеливо забарабанила пальцами по столу, свет заиграл на ее бриллиантовом кольце, и вид этот дал силы фрау Зельдер проглотить раздраженный ответ и ограничиться лишь тяжелым вздохом.

Уже в первый вечер Ваня—при всей своей невинности—возбудил всеобщее негодование. Господин Зельдер ежедневно устраивал вечернюю молитву; утром он не находил для этого времени; может быть, при дневном свете он считал себя в безопасности и без покровительства бога; ночью же, в жуткой темноте, хорошо было иметь всемогущего союзника.

Вся семья стояла вокруг обеденного стола, а господин Зельдер монотонно читал монотонным голосом псалом. Затем он сказал: — Довольно, помолились.

Ваня, понявший лишь последние слова, набожно перекрестился. Строгие взгляды смерили его. Густав и Лена захихикали

После молитвы господин Зельдер заметил строго:

— Иван, ты здесь в христианском доме и должен отвыкнуть от таких фокусов. Это глупые суеверия, понимаешь!*)

*) Так относятся к внешним формам православной молитвы лютеране, составляющие большинство населения в Германии.

Ваня, ничего не понимая, боязливо прижался к Маргарите:

— Что же я сделал плохого?

Она погладила темные локоны:—Не нужно креститься, Ваня, это оскорбляет бога моего брата.

И, повернувшись к господину Зельдеру, она насмешливо прибавила вполголоса:

— Какие у вас смешные божки, мои милые люди.

— Маргарита!

* * *

И на следующий день Ваня без всякого злого намерения оскорбил самые святые чувства семьи. Он стоял в зале и рассматривал два больших раскрашенных портрета, висевших над диваном: они изображали господина с закрученными вверх усами и даму, обвешенную жемчугом. Он спросил Лену, к которой возымел полное доверие:—Кто эти противные люди? Этот мужчина похож на городового на нашей улице.

Мгновение царила гробовая тишина; потом Маргарита звонко расхохоталась, а Фридрих с бешенством воскликнул:

— Проклятое русское отродье!

Господин Зельдер заговорил дрожащим от гнева голосом:

— Иван, ты никогда не должен этого говорить. Эти портреты изображают наших высокопоставленных государя и государыню, о которых ты должен говорить с благоговением.

И, снисходя к невежеству этого чужого ребенка, он прибавил в виде об'яснения более кротким тоном:

— Эти портреты для нас, немцев, так же дороги и достойны почитания, как для вас, русских, портреты царя и царицы.

Лена утащила Ваню в детскую.

— Расскажи мне что-нибудь о России.

Но Ваня ничего не сумел рассказать.

— Нравится тебе у нас?—спросила девочка.

— Нет.

— Мне тоже нет. Когда я буду большая, я уеду отсюда и никогда больше не приеду.—А почему тебе не нравится?

Ваня не находил выражения своим чувствам, наконец он сказал:

— Твой папа всегда говорит: ты не должен. А что у вас можно делать?

— Ничего, только слушаться и молчать. А твои родители тоже такие были?

— О, нет, мамочка была милая и добрая.

И чувство безграничной покинутости внезапно осветило мальчика. Слезы выступили у него на глазах, он горько заплакал.

Лена крепко обхватила его ручонками.—Не плачь, Ваня, я всегда буду на твоей стороне, а когда мы вырастем, мы убежим в Россию, где не все всегда запрещено, и где люди добрые.

— Долго еще останется у нас твоя сестра?—спросила фрау Зельдер мужа, ложась спать. Она только что заплела свои волосы в косу и, закутанная в теплый бумазейный капот, обутая в мягкие войлочные туфли, сидела на краю кровати.—С тех пор как она здесь, с Густавом и Леной сладу нет. И, кроме того, она так бросается в глаза своим туалетом. Еще сегодня меня спросила докторша, кто эта «такая элегантная дама», что живет у нас. Затем, когда она репетирует свои упражнения, она поет всегда эти бесстыдные, страстные любовные песни. Что может думать Ильза, когда она слышит такие слова? Я просила Маргариту не петь этих песен. Знаешь, что она мне ответила? «Господи, какая у вас испорченная фантазия!»

Господин Зельдер чистил ногти своим перочинным ножиком и был слишком углублен в это занятие, чтобы ответить.

Жена продолжала:

— Разве она ничего не говорила о своем от'езде.

— Нет, но она намекнула, что она готова нам оказать финансовую поддержку, для того, чтобы Фридрих мог служить в хорошем полку.

— Она, видно, много заработала за последние годы.

— Поразительно, как люди много тратятся, чтобы слышать пение. Мне церковный хор доставляет куда больше удовольствия, чем пение Маргариты. Конечно, если она нам хочет помочь... Мы должны быть добры с ней, Вильгельм, ведь она твоя сестра, наконец... И возможно, что пребывание в христианском немецком доме окажет на нее хорошее влияние.

Господин Зельдер лег в кровать.—Поговори ты с ней как-нибудь о Фридрихе, так мимоходом.

— Хорошо...—глаза фрау Зельдер загорелись.

— Когда я представлю себе, Вильгельм, нашего мальчика в мундире. Он такой стройный, такой дельный. Он на военной службе далеко пойдет.

— О, конечно, не теперь, а если опять будет война, тогда...

Фрау Зельдер утвердительно кивнула головой, господин Зельдер потушил свет.

— Сегодня граф Штромвиц говорил со мной, он очень любезный господин. Его сын переходит после рождественских каникул в мой класс. Он в возрасте Густава. Хорошо было бы если бы он с ним подружился. Граф был очень мил: такой знатный человек, с рыцарскими манерами, удивительно молодцеватый. О, да, нашей аристократией мы можем гордиться.

— Я тоже в пансионе дружила с одной графиней, Вильгельм. Я всегда за нее делала арифметические задачи. Мы даже были на «ты». Ты же знаешь, Вильгельм, у меня даже ее фотография есть, и...

Но Вильгельм слышал этот рассказ по крайней мере в сотый раз. Он повернулся лицом к стене и захрапел.

* * *

Дети легли уже спать. Супруги Зельдеры сидели с Маргаритой в гостинной.

— Итак, дело сделано. Мой маленький Ваня остается у вас. Вы будете его воспитывать, как своих собственных детей. Конечно, все расходы я вам возвращу, и за это я устрою Фридриха в хорошем полку.

Красные пятна выступили на щеках фрау Зельдер. Она совсем не была согласна на пребывание «русского мальчика» в их доме, но, с другой стороны—соображения о Фридрихе удерживали ее от отказа.

— Надеюсь, милая сестра, ты понимаешь, какую большую жертву приносит тебе наша преданность, если мы соглашаемся принять к себе это чужое дитя.

— Жертву?—голос Маргариты звучал далеко недружелюбно.—Но, ведь, наконец, вы этого не делаете даром.

Господин Зельдер сделал вид, что не слышал этого неделикатного возражения.

— Можешь быть уверена, что Иван будет пользоваться всеми преимуществами воспитания, какое получают и наши дети. Я сделаю все, от меня зависящее, чтобы воспитать в нем настоящего немца.

— Сделай лучше из него человека. Это тебе, конечно, будет труднее.

— Маргарита!—волнение прорывалось в голосе господина Зельдера.—Я вижу с глубокой грустью, как тебя испортила твоя космополитическая жизнь. Ты как будто потеряла всякое чувство к родине. Не забывай там, в большом свете, что в жилах твоих течет немецкая кровь.

Маргарита рассмеялась.

— Мне достаточно труда стоит, чтобы побороть в себе эту немецкую кровь, Вильгельм, эту заносчивость, эту мелочность, чтобы избавиться от них.

Ее насмешливое лицо смягчилось. Она обратилась к золовке:

— Анни, я знаю, какая ты хорошая мать. Найди и для чужого сиротки уголок в своем сердце, полюби его.

— Я исполню свой христианский долг по отношению к нему

Маргарита вздрогнула.

— Бедный Иван. Я бы его лучше с собой забрала,—подумала она. Затем, обратившись к брату кончила:

— Итак, это дело улажено. После завтра я еду в Гамбург.

У фрау Зельдер было еще что то на душе.—Тебе не будет неприятно, Маргарита, если мы этого мальчика будем называть Иоганном? Иван звучит так чуждо, так язычески.

— О, пожалуйста, если тебе это больше нравится. Может быть, в твоем сердце найдется немного больше любви для Иоганна, чем для Ивана, ты... ты... немецкая душа!

На другой день Густав радостно сообщил Ване, что отныне его зовут «Иоганном» и что он уже больше не русский, а немец.

Ваня отнесся безучастно к этой новости. Мысль остаться у этих чужих людей без Маргариты так угнетала его, что все остальное его не трогало. Зато Лена топнула сердито ножкой и закричала вся в слезах:

— Это ужасно. Теперь они и его хотят сделать таким, как все другие. Не позволяй этого, Иван!

— Иоганн,—поправил Густав ухмыляясь.—Ведь это безразлично,—грустно размышлял Ваня, зовут ли меня Иваном или Иоганном.—Не знаю,—прибавил он задумчиво,—порой мне кажется, что когда-то давно меня еще как-то называли; но я никак не могу вспомнить.

* * *

Куда девается увядшая листва осени, куда уносятся быстро мчащиеся годы детства? Исчезают ли они бесследно в мирах,

распыленные и рассеянные, скопляются ли они, как снежные глыбы в лавину, чтобы потом, как тяжелое бремя тяготить усталые плечи, или подобны они чудесному цветку, который нуждается в бесчисленных годах дождя и солнца, зноя и мороза, чтобы расцвесть в полном великолепии?

Как туманные образы, проносятся детские годы, скользят, как будто бесследно, по молодым душам; по временам, однако, какой-нибудь яркий луч, какой-нибудь образ, или черные тени сгущаются в определенные фигуры, которые застревают в памяти.

Из маленького, вечно испуганного Вани, которого странная судьба забросила в немецкую среду, вырос теперь длинный, худой, четырнадцатилетний Иоганн. Когда он пытался вспомнить долгие семь лет, проведенные им в маленьком восточно-прусском городке, они сливались в его памяти—серые и бесцветные, монотонные и скучные; лишь некоторые обстоятельства, отдельные моменты ярко вздымаются на бесцветном фоне.

Тяжелая беспомощная грусть, когда он после от'езда Маргариты Зельдер остался один среди чужих; тягостные придирки в воспитании взрослых, злостные поддразниванья старших детей. Все это оставило в его душе тяжелые следы; лучше голод и холод, лучше по ночам петь на улицах, чем эти отвратительные дни, где все строго размерено, каждый час точно определен и подразделен. И никогда ни одного нежного слова, ни одной ласки, лишь утром и вечером тот же поцелуй фрау Зельдер, входящий в расписание дня, как кушанье или воскресная прогулка. Его единственным утешением была Лена; отчасти из духа противоречия, отчасти из бессознательной детской доброты девочка привязалась к одинокому мальчику, защищала его от нападок братьев и сестер, помогала ему в его школьных работах, оставляла своих подруг для него.

А затем наступила школа, тесные классы, несносная близость чужих тел, дисциплина, бесконечные, скучные часы ученья.

— А ведь это совсем не должно быть скучно,—жаловался он Лене.—Ведь так интересно знать, как люди жили раньше, как все стало так, как теперь. А этого нам учитель не рассказывает. Одни только годы, да короли, да императоры, да сраженья. А почему они так хвалят войну? Разве это хорошо и справедливо убивать людей?

Больше всего мирился он с уроками катехизиса. Что-то родственное звучало ему в Ветхом Завете. Иерусалим, Сион,— странно доверчивая музыка звучала в этих словах, отзвуки далекой родины. И как раз на одном из этих уроков произошел инцидент, благодаря которому ему пришлось услышать много злых слов, но который зато по странной случайности неожиданно доставил ему друга.

Ему было тогда десять лет и, как один из лучших учеников, он сидел на первой скамейке. Возле него сидел дворянский сынок Эвальд Бранкен, дерзкий мальчик и отчаянный драчун. Старик пастор говорил о распятии Христа и о том, как толпа издевалась над распятым. Старик говорил со всем чувством теплой детской веры, и Иоганн был сильно взволнован. И вдруг возле него раздался голос Эвальда:

— Господин пастор, почему мы не перебьем этих вонючих жидов? Мой отец тоже говорит, что их нужно всех перерезать.

Безумная, ему самому непонятная ярость овладела Иоганном. Он размахнулся и изо всей силы ударил товарища по лицу.

По окончании урока старый пастор задержал его в классе; добрые, выцветшие старые глаза пытливо рассматривали все еще пылавшее гневом лицо мальчика.

— Что можешь сказать ты в свое оправдание, Иоганн?

Иоганн опустил голову.

— Почему ты побил Эвальда?

Без раскаяния, без сознания своей вины, лишь растерянно и почти испуганно смотрел мальчик на старика.

— Не знаю, господин пастор.

— Тебе разве не жалко?—почти просительно звучал вопрос.

— Нет, господин пастор. То-есть, мне жалко, что это произошло во время вашего урока, но я бы вторично так сделал, если бы кто-нибудь так говорил о евреях. Я этого не могу перенести; я не знаю почему.

— Есть ли у тебя евреи друзья, которые тебе очень дороги?

— Нет, господин пастор.

— А когда ты был маленький, не вырос ли ты у евреев?

— Нет, господин пастор, когда мамочка умерла, ее хоронил поп.

Старик долго смотрел испытующе на мальчика.

— Не знаю, что тебя толкнуло на такой поступок, сын мой. Одному только Богу известно, что двигало тобой. Поэтому я не хочу тебя наказывать, тем более, что и товарищ твой был неправ. Одно только помни, дитя, побоями никого нельзя ни в чем убедить.

Господин Зельдер, очевидно, не разделял этого мнения. Узнав о происшедшем, он попытался самым энергичным образом побоями убедить Иоганна, а фрау Зельдер щедро осыпала его злыми словами.

— Зачем ты это сделал?—спросила Лена, когда Иоганн с болезненно-искаженным лицом осторожно садился в детской возле нее на диван.

— Не знаю, Ленхен, я сам себя спрашиваю, что со мной было, но я готов был его убить, когда он это сказал.

— Он наверное захочет с тобой рассчитаться. Но пусть он только попробует. Я ему глаза выцарапаю.

Странно, но после этого инцидента пастор стал с Иоганном добрее прежнего. С своей стороны в угоду старику Иоганн учился с удвоенным старанием. Однако, с этого времени уроки катехизиса стали ему неприятны, он сам не знал, почему. Ученики его класса готовились к причастию. Большинство оставалось совершенно безучастным, немногие впадали в какую-то религиозную мечтательность. У Иоганна все время было такое чувство, какъ если-б он стоял в стороне, какъ если-б какая-то непреодолимая сила внезапно оттолкнула его от товарищей и от доброго старого учителя. С ужасом думал он о том дне, когда с алтаря ему будет протянут кубок. Слова: «возьмите это и пейте, ибо се есть моя кровь» возбуждали в нем какое-то отвращение.

Однажды он подошел к пастору и заявил ему, что он не может итти к причастию.

И как в тот день, когда он бил товарища, старик спросил его: —Почему?

И как в тот день, Иоганн ответил:

— Не знаю, господин пастор.

— Разве ты не любишь Христа, Иоганн?

— О, да, господин пастор, но... как-то иначе, чем вы.

Старый пастор задумался. Он знал, какие неприятные последствия для Иоганна может повести за собой его отказ от причастия. Он слишком хорошо знал господина Зельдера и

его ханжескую набожность. И почему как раз он, лучший его ученик, хочет уклониться от этого священного акта? Не прочел ли он каких-нибудь атеистических книг, не потерял ли он веру?

— Скажи мне подробно, что тебя мучает, дитя мое.

Мальчик покраснел. Слезы выступили у него на глазах. Он колебался, не желая огорчить учителя. Наконец, он пробормотал:

— Эти слова: «се есть кровь моя». Я не могу, мне противно.

Старый пастор печально посмотрел на него.

— Думай лучше о других словах: «Делайте это в воспоминанье обо мне». Если ты Христа не почитаешь богом, неужели ты не хочешь сделать чего-нибудь в память о благородном, добром человеке и таким образом выразить свое участие к нему?—А когда и эти слова еще не подействовали, он с детской хитростью прибегнул к другому средству:

— Сделай это для меня, мой мальчик.

Иоганн подчинился. Когда он, однако, после причастия сидел дома за столом, он не мог проглотить ни одного куска и к величайшему стыду своему, неожиданно разразившись слезами, торопливо ушел из комнаты.

Фрау Зельдер расчувствованно вытерла глаза. Она думала, что мальчик умилен обрядом причастия: милость Господня коснулась его.

— Да,—с достоинством думал учитель гимназии,—истинный чисто христианский немецкий дом влияет облагораживающе. Когда я только подумаю, что этот мальчик мог остаться русским и язычником...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

— Иди сюда, Иоганн, я тебе покажу что-то, —Лена потащила его за руку на чердак. Здесь, за старым хламом, сундуками и ящиками, они оба устроили себе комнатку. Старый ящик служил столом. Лена тайком вытащила немного перьев из подушек и сделала из старых платьев две великолепных подушки, которые им служили стульями. В маленьком ящике хранилось несколько любимых книг, яблоки и груши. Это маленькое пространство называлось у них «наш дом», и это было единственное место, где они себя чувствовали действительно уютно.

Глаза Лены сверкали, щеки пылали.

— Теперь я знаю, зачем живут, что нужно делать со своею жизнью!—горячо воскликнула она.

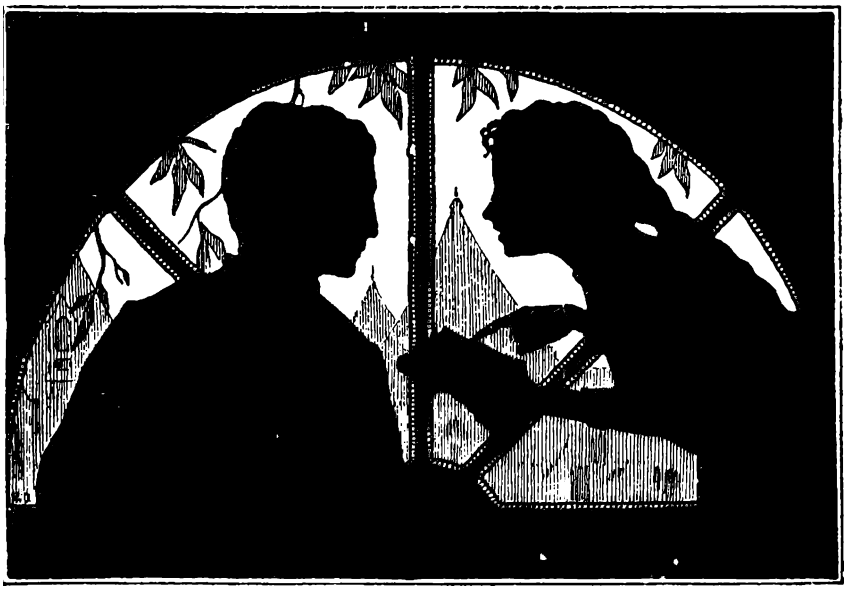
— Какое открытие сделала ты?

Она порылась в ящике и вытащила книгу.—Вот это ты должен прочесть. Это священней библии.

Иоганн бросил взгляд на книгу.

— «Подпольная Россия»—Степняка. Вот что!.. Это я знаю.

Он снисходительно улыбнулся. Несмотря на то, что он был на два года моложе девушки, его более спокойный темпера-



— Вот это ты должен прочесть: это священней библии.

мент давал ему некоторые преимущества над экспансивной подвижной, как ртуть, подругой.

— Ты это знаешь а никогда мне не рассказывал об этом. Какой ты плохой друг!

— Откуда у тебя эта книга?

Она лукаво засмеялась.

— От зубного врача.

— От зубного врача?

— Да, на прошлой неделе мне пришлось долго ждать; пациент, который до меня вошел к нему, оставил эту книжку

на столе в приемной. Я начала читать. А когда он вышел от врача, я его совершенно просто спросила, можно ли мне взять эту книгу и прочесть? Он тебя знает по школе и сказал, что ты сумеешь ее принести ему.

Иоганн утвердительно кивнул.

— И ты вот так обратилась к совершенно чужому человеку?

— Но ведь мне было необходимо прочесть эту книгу до конца, а он был очень любезен. И кроме того, я ведь его знаю, я его видала в писчебумажном магазине его отца. Он обещал дать еще книги.

Иоганн засмеялся.—Еслиб твой отец знал, что ты одалживаешь книги у сына старого Менделя Зильберблята!

— Мой отец...—Остаток дочернего чувства не позволил Лене произнести напрашивавшееся слово «осел». Отношения между учителем гимназии и его младшей дочерью в последние годы все больше обострялись. Критическое чувство Лены не останавливалось ни перед каким авторитетом. Она снова обратилась к книге:

— Иоганн, можешь ты себе представить, что существуют такие люди, такие самоотверженные, такие мужественные! А какой бедный этот русский народ! Слушай, нужно непременно итти в Россию—помочь ему.

— Зачем итти в Россию? Неужели ты думаешь, что наш народ не нуждается в помощи. Разве рабочие графа Штромвица менее порабощены, чем русские крестьяне?

Она широко открытыми глазами посмотрела на него.

— Это мне никогда в голову не приходило. Иоганн, почему ты мне никогда не говоришь о таких вещах?

— Ты ведь девушка,—возразил он в свое оправдание.

— А разве русские женщины не жертвовали собой для народа. Какое это оправдание?

Иоганн поколебался, наконец он сказал:

— Видишь ли, Ленхен, я уж давно думаю об этих вещах. и... и они для меня что-то священное. Я боялся, ты их не поймешь, ты будешь над ними смеяться, а мне это было бы больно.

— Разве я — Ильза, которая думает только о замужестве, или Густав со своим вечным микроскопом. Я ведь человек, я уже не дитя.

Он задумчиво посмотрел на нее: она была маленькая и хрупкая, с порывистыми нервными движениями. Слова, в детстве

сказанные ею матери: «Когда я буду большая, я буду неуравновешенная», как будто осуществились.

Достопочтенная трезвость, в строгих границах сдержанный, лишь для особо торжественных случаев приберегаемый, энтузиазм родительского дома были ей чужды. Она с неудержимой силой отдавалась всякому впечатлению, ненавидела и любила, поклонялась или презирала всеми силами юной души. За коротким периодом религиозного энтузиазма, который она переживала в течении некоторого времени, последовала какая-то пустота. Она щупала, искала чего-нибудь, что могло бы дать смысл жизни, не зная хорошо, к чему она, собственно, стремилась.

— Слушай!—пальцы ее любовно гладили книгу, лежавшую на ее коленях.—Этот Анатоль Зильберблят, верит ли он тоже во все это?

— Конечно. Ведь это от него я знаю все, что знаю. Мы часто об этом говорили. Он мне одалживает книги.

— Откуда же такие мысли?

— Я его тоже спрашивал об этом. Он думает это оттого, что он еврей, а так как евреи всегда были порабощены и угнетены, то они лучше понимали бедных и угнетенных.

Лена молчала. Она вытащила из заветного ящика яблоко и задумчиво грызла его. Внезапно ей пришла какая-то мысль.

— Иоганн, мы должны заключить союз.

— Союз?

Она выбросила в окно остаток яблока.

— Да. Ты, я и Анатоль; мы должны поклясться жить за народ, освободить его. Мы должны тайно собраться и поклясться на евангелии.

— Это не годится, ты дурочка. Ведь он не верит в евангелие.

Она посмотрела на него пораженная.—Это правда. Что же тогда делать? Разве ничего нет такого, что было бы свято неверующим.

Иоганн задумался. Вопрос Лены открыл перед ним новые горизонты. Ведь должно же что-нибудь существовать, что охватывает людей всех народов, рас и вер, что для них является чем-то, вроде распятия, евангелия христиан.

Слова Лены прервали его размышления.—Если стремишься к хорошему, то ведь безразлично, еврей ли ты или христианин,

немец или русский. Должно существовать нечто такое, что стоит над всем этим, что всех людей об'единяет.

Иоганн все еще выжидательно молчал. Его молчаливость часто приводила Лену в отчаяние. Она не любила долгих размышлений и обдумываний. Она требовала ответа, на все свои вопросы, быстрого, как молния.

— Иоганн,—настаивала она,—ведь должно же быть что-то.

В его мозгу блеснуло решение вопроса.—Да, ведь Анатоль мне говорил об этом! Я только не сообразил сразу. Ты столько болтаешь, что это меня запутывает. Помнишь, Лехен, как твой отец недавно ругал за столом «Интернационал», как он называл всех членов его предателями, безродными бродягами.

Лена пожала плечами.

— Папа вечно ругается. Но какое это имеет отношение к нашему вопросу. Почему ты об этом теперь заговорил?

— Потому, что «Интернационал» это именно то, что может обхватить всех людей, тот священный союз, в котором нет наций и религий. Анатоль тебе это лучше сумеет об'яснить.

— Хорошо. Скажи ему, в чем дело. В воскресенье все наши отправляются в экскурсию. Меня не берут, потому что я недавно была груба с этой глупой обезьяной, женихом Ильзы, а ты скажи, что тебе надо заниматься. И тогда ты приведешь Анатоля в «наш дом» и мы заключим союз, и поклянемся на «Интернационале».

* * *

Густав оторвал от книги свои близорукие, водянисто-голубые глаза, когда Иоганн вошел в их общую комнату и спросил с участливой улыбкой:

— Что ты собственно натворил, Иоганн?

— Я?

— Да, ты. Отец кипит от гнева. Тебе уж хорошенько достанется.

— Да, но ведь... Я ничего ведь не сделал.

— Какое это у вас было сочинение на этой неделе? Отец прочел даже твое сочинение матери. Это он ведь делает, когда приходит в особую ярость. Сегодня у нас будет приятный обед.

За обедом царила ледяная тишина. Затем гроза разразилась.

— Поражаюсь, как ты еще смеешь смотреть мне в глаза, Иоганн,—начал учитель гимназии.

Иоганн молчал. Лена насторожилась.

— Я прочел твое сочинение и спрашиваю тебя, как ты осмеливаешься выставлять преступников и убийц, как героев?

— Я никогда этого не делал.

— Я даю вам тему о героях, разбираю ее с вами, даю вам, как точку опоры, несколько имен, как Фридрих Великий, Блюхер, Мольтке, Вильгельм I. И что же ты пишешь? Ты пишешь о героях «свободы», не упоминаешь при этом Арндта или Теодора Кернера, что могло бы еще сойти, тебе не угодно называть немецкие имена. Твоя мудрость должна отправиться в Россию. И каких же людей ты избираешь в герои? Революционеров, вожаков, подлых негодяев, которые осмелились восстать против своего монарха! И не достаточно еще того, что ты берешь такие примеры из первой половины девятнадцатого века, нет, ты идешь дальше, ты осмеливаешься этих негодных мерзавцев, которые теперь производят в России революцию, которые грозят жизни царя, друга и родственника нашего всемилостивого кайзера, ты осмеливаешься их называть героями, друзьями человечества.

— Но...

— Молчи, ты вырос в лояльном христианском доме, окруженный хорошими примерами. Я сам пытался сделать из тебя верного, честного гражданина. Твой брат носит мундир кайзера и скоро будет произведен в обер-лейтенанты, а ты... ты пишешь, как... как... социалист! Стыдись!

— Но...

— В этом доме ты ничего подобного не мог слышать, наши друзья, с которыми ты встречаешься, не убийцы и не грабители. «Deutsche Tageszeitung» («Немецкая газета»), которую я тебе разрешил читать (по доброте своей лишь, потому что мальчику твоих лет незачем знать, что происходит на свете),— «Немецкая газета» наверное никогда подобных взглядов не высказывала. Я ставлю себе вопрос, как это возможно, чтобы дитя нашего дома было так испорчено. Как это возможно?!

— Я...

— Молчи! Вот уж месяц, как ты возбуждаешь мое неудовольствие. Вечно я тебя вижу вместе с этим жиденком. Что общего между порядочным немецким юношей и жидом? Евреи— паразиты на теле нашего народа. Представляешь ты себе чтобы Фридрих или Густав имели дело с жидами?

Густав довольно ухмыльнулся и пробормотал:

— Почему бы и нет, если я могу от них чему-нибудь поучиться?

Отец не обратил внимания на эту реплику и продолжал.

Твое сочинение показало мне, что все наши нежные заботы, все наши жертвы были напрасны. Ты не немец! Ты преклоняешься перед тем, что должно было бы возбуждать возмущение, ты превозносишь то, что должен был бы осуждать. Ты пропащий субъект, бродяга, не наш!

Фрау Зельдер не сводила с мужа восхищенного взора: Как хорошо он говорит, почти как пастор!

Гнев господина Зельдера понемногу стихал. Он чувствовал в себе величие и мощь праведного судьи и это ублаготворяло его. Но тут произошел инцидент, который сызнова воспламенил его гнев.

Звонкий девичий голосок прокричал на весь стол:

— Нет, он, конечно, не ваш. Но и я нет, слава тебе, господи!

Фрау Зельдер с ужасом посмотрела на дочь. Ильза вся сжалась на своем стуле. Густав ухмылялся, уверенный в своей неприкосновенности.

— Елена!—Дальнейший поток речи застрял в горле учителя гимназии.

— Ни за какие блага в мире не хотела бы я быть вашей!— взволнованно продолжал гневный молодой голос.—Вы ничтожны и мелки. Вы преклоняетесь перед глупым кайзером и королями, да, они глупы и злы, а истинных героев вы презираете. Вы питаетесь кровью бедных, сосете ее, живете в роскоши и изяществе..

Учителю гимназии в пылу его гнева вдруг вспомнилось его скромное жалованье. С особенной убежденностью он вскричал:

— Молчи, Елена, это ложь!

Но дочь продолжала, не останавливаясь:

— Вы эксплоататоры, поработители пролетариата, прислужники князей. Наши порабощенные братья на востоке стремятся к свободе, а вы им в этом препятствуете, потому что вам жаль вашего неправдой нажитого добра!

Иоганн не мог сдержать улыбки. Лена была старательной ученицей. «Союз», конечно, издавал газету в трех экземплярах, чистенько переписанных, и Лена цитировала почти слово в слово передовую статью Анатоля Зильберблата.

Учитель гимназии сидел окаменевший. Его д о ч ь! И откуда у нее эти выражения? Пролетариат, эксплоататоры, порабощенные братья на востоке? Он задыхался, и лишь, когда Лена, покончив с передовицей, вернулась к своему собственному лексикону и воскликнула: —Вы ужасные люди! Мне стыдно иметь таких родителей!—к нему вернулась способность речи, и он гневно приказал ей сейчас же оставить комнату. Она вышла, в виде последнего триумфа потянула за собой Иоганна и, гордо выпрямив свою маленькую фигурку, на пороге громко воскликнула:

— Идем, Иоганн, мы не принадлежим к капиталистам!

Все остались неподвижно на местах. Фрау Зельдер плакала. Ильза не осмеливалась поднять глаз. Густав пробормотал что то вроде:—У меня школьные сочинения!—и торопливо вышел из комнаты. Учитель гимназии большими шагами ходил взад и вперед по комнате. Наконец он остановился перед женой:

— Злой дух проник в наш дом, Анна. Нам необходимо строже следить за детьми. Я не могу понять, что случилось с Еленой.

Фрау Зельдер кивнула утвердительно, все еще плача. Взгляд ее упал на ноги мужа.

— Вильгельм, ты должен себе купить новые сапоги, в третий раз подметок не удастся положить.

Учитель посмотрел на свои изношенные ботинки.—Роскошь и излишества! Эксплоататоры, капиталисты!—с горечью воскликнул он, ударяя сжатыми кулаками по столу.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Ильза Зельдер сидела у стола и шила свое приданое. По временам она приподнимала левую руку и с сияющим лицом рассматривала гладкое золотое колечко, украшавшее ее палец. Лена шуршала книгой в углу кушетки и насмешливо посматривала на сестру.

— Итак через две недели мы, наконец, избавимся от тебя, наконец,—любезно заметила она.—Скажи, Ильза, почему ты, собственно, носишь траур по тете Маргарите?

Сестра посмотрела на нее с изумлением:—Но ведь полгода траура кончается лишь через десять дней!

Ах, да, верно. Но ведь ты то собственно должна очень радоваться, что она умерла. Ведь без ее наследства твой Адольф никогда бы не женился на тебе.

— Но, Лена!..

— Что Лена? Разве я не знаю, что ты спокойно нас оставила бы умирать, лишь бы замуж выскочить. И что, собственно, тебе даст замужество?

— Этого ты не можешь понять, ты слишком молода для этого. Мы любим друг друга, и у нас будет уютный семейный очаг.

— А дальше?

Что дальше?

— Ну, да, семейный очаг, это прекрасно. Но что ты будешь делать со своей жизнью? Что дашь ты жизни?

— Мои обязанности жены...

Лена засвистала сквозь зубы:—Каждый год ребенка, неправда ли?

— Лена, о таких вещах не говорят.

— О, нет, конечно, их только делают.

Она испытывающе посмотрела на сестру.

— Теперь ты еще довольно хорошенькая; через пять-шесть лет ты превратишься в толстую корову, как твоя подруга Кэт, или же станешь измученная и раздражительная, как наша бедная мама. А муж твой будет тебе читать вслух «Немецкую газету», а в день Седана или рождения кайзера приходить домой пьяным.

— Я запрещаю тебе говорить так об Адольфе.

— Твой Адольф! А почему он тебе сделал предложение лишь после вскрытия завещания тети Маргариты? О, это большая любовь!

— Ты вульгарна!

— Нет, я только не так глупа, как ты. Скажи, Ильза, неужели ты никогда не задумывалась о жизни?

— Я не понимаю тебя.

— Не думала ты о человеческом обществе и обо всем, чем мы ему обязаны?

— Ты не можешь сказать, Лена, что я забывала свои обязанности.

— О, нет. Ты была хорошей дочерью, будешь любящей женой и матерью, всегда будешь видеть лишь то, что перед

самым носом, и умрешь всеми почитаемая. Господи, если бы мне предстояло так жить, я бы лучше теперь же повесилась.

Старшая сестра пренебрежительно покачала головой.

— Какие тебе мысли в голову приходят!.. В этом виноват Иоганн со своими сумасбродными идеями. Теперь, когда ты останешься единственной дочерью в доме, это будет чувствоваться.

Лена вскочила.—Не говори об этом! Меня ужас охватывает при мысли сидеть дома, заниматься рукодельем и посещать кружки в кафе! А затем выскочить замуж за первого встречного для того только, чтобы только уйти отсюда. Если бы тетя Маргарита жила, я бы к ней ушла.

Фрау Зельдер вошла в комнату.

— Дети, что тут опять случилось? Чего ты так раскричалась, Лена? А я получила хорошую новость. Фридрих приезжает послезавтра.

— И это еще,—вполголоса пробормотала Лена и осторожно продвинулась к дверям.

— Куда идешь ты, Лена? Дождь идет.

— Мне нужно купить кое-что.

— Так захвати пуговиц и белого шелку. И причешись раньше. На кого ты похожа?

Холодный осенний день окутывал город безнадежным серым туманом. Крупные капли стекали с обнаженных деревьев, дома исчезали в тумане.

Лена торопливо шла по улице, враждебно рассматривая знакомые дома, прохожих. Все то же однообразие, бесцветное, скучное, мертвое. Неужели и она, как сестра, всю свою жизнь проведет в этом отвратительном городишке?

Перед писчебумажным магазином Зильберблята она просвистала первые звуки Интернационала—на верхнем этаже открылось окно, и темная голова посмотрела вниз.

— Идем гулять, Анатоль.

— В такую погоду?

— Да идем же!

Через несколько минут высокая, худощавая фигура Анатоля показалась в дверях магазина.

— С ума сошла ты, Лена? В такой дождь прогуливаться!

— Будь хорошим, Анатоль. Мне необходимо проветриться.

Широко и лениво неслись серые волны мощной реки; бесконечная равнина утопала в тумане, безграничная грусть тяготела над всем.

Лена молчала. Это случалось с ней так редко, что Анатоль почти озабоченно спросил:

— Что случилось опять, дитя?

Она взглянула на него полными слез глазами.

— Я этого не выдержу. Теперь, когда Ильза уйдет!.. Я ведь не переносила этого глупого существа, но она была полезна, потому что все внимание мамы было обращено на нее. А теперь я должна изображать маменькину дочь. А ты уезжаешь, в Берлин, и Иоганн в будущем году уходит из дому. Я лучше хотела бы умереть.

Он успокоительно похлопал ее по плечу.

— Сколько тебе лет, собственно?

— Семнадцать исполнилось.

— Да, тогда тебе нужно ждать еще четыре года, пока ты будешь свободна.

— Этого я не перенесу. Когда ты уезжаешь?

— На будущей неделе.

— И ты в самом деле хочешь стать журналистом?

Да, но не рассказывай этого моему отцу. Он думает что я пойду на юридический.

— Анатоль?!

— Что?

— Знаешь, я ведь очень практична. Я даже умею готовить.

Он недоумело посмотрел на нее:—Возможно. Зачем ты мне это рассказываешь?

— Потому что...—она запнулась. Маленькое личико покрылось румянцем.—Анатоль, милый Анатоль, не женишься ли ты на мне?

— Ты совсем с ума сошла?

Она преодолела свое минутное смущение.

— Знаешь так, как русские студентки когда то... чтобы уйти из дому. Я тебе совсем мешать не буду. Пожалуйста, Анатоль, женись на мне.

Он засмеялся:—Нет, ты маленькая дурочка.

— Почему?

— Анатоль, милый Анатоль, не женишься ли ты на мне?

— Я не женюсь на христианке, — нелюбезно ответил он, — и затем это было бы смешно. В девятнадцать лет ведь не женятся. Но ради Бога, не плачь. Я ведь тебя не хотел огорчить.

Лена прислонилась к стволу дерева и горько плакала.

— Это называется дружба? Такого пустяка ты не можешь сделать для меня? А мы ведь поклялись быть всегда за одно!

Он стал серьезным. Это не был тон капризного ребенка. Измученная молодая душа рвалась на волю. Внезапная жалость овладела им. Он притянул ее к себе. — Не плачь, маленькая Лена, не теряй мужества! Когда для тебя будет работа, я приду за тобой.

— Наверное?

— Наверное!

* * *

Все сидели за свадебным обедом. Фрау Зельдер беспрестанно вытирала себе глаза. Учитель гимназии любезно болтал с матерью жениха, молодая парочка ворковала вдвоем, а Фридрих, обер-лейтенант теперь, ухаживал за своей новой золовкой.

— Хорошая партия, — говорила старая тетка фрау Зельдер директору гимназии. — Судебный ассессор и такой способный молодой человек.

— Да, он был, поверьте, славным студентом! Посмотрите-ка, сколько у него шрамов.

— Рассматривали ли вы когда нибудь, фрейлейн, глаз мухи под микроскопом? — спросил Густав свою соседку. — Это истинное произведение искусства.

Молодая девушка почти испуганно посмотрела на него.

— Нет, господин Зельдер.

— А теперь вы на очереди, фрейлейн Елена, — говорил шафер, элегантный молодой офицер. — Вы, однако, должны выйти замуж за офицера, уже хотя бы ради вашего брата.

— Я терпеть не могу офицеров, — резко вырвалось у нее, и, смутившись, она прибавила: — То есть я думаю, военщину вообще.

— Это ведь не может быть серьезно.

Иоганн сидел на конце стола около младшего брата жениха, студента. Он чувствовал себя одиноким и печальным. Как чужды были ему все эти люди, несмотря на долгие про-

веденные с ними вместе годы. Лишь маленькое капризное личико Лены доверчиво ободряло его.

— Что будете вы изучать?—спросил сосед.

— Медицину?—Смотрите, вступите в хорошую корпорацию. Я охотно окажу вам содействие.

— Спасибо. Я не вступаю ни в какую корпорацию.

— Как? Это вы должны сделать непременно, это ведь главное в студенческой жизни. Когда кончаете вы школу?

— В будущем году.

— Мы, конечно, будем встречаться в Берлине.

Учитель гимназии встал и поднял свой бокал. В хорошо заученной речи он произносил тост за своих гостей, выразив радость доверить свое дорогое дитя такому порядочному человеку. В то время, как все чокались, Лена пробралась незаметно к Иоганну.

— Давай, улизнем!—прошептала она.—Старый генерал провозгласит тост за кайзера, а я, конечно, не хочу пить за его здоровье.

— Ты дитя, Лена.

Она с упреком посмотрела на него.

— Нельзя итти на компромиссы. Идем, никто не заметит как мы выйдем.

Он последовал за нею.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Лучезарный солнечный день придал банальному восточно-прусскому городку какую то дивную, сияющую красоту. Розы и гвоздики ярко пылали в садах, колеблемые ветерком мальвы качали свои толстые головки. Празднично - чистые лилии целомудренно улыбались, вознося нежное благоухание к небесам. На изгородях цвел густой зарослью жасмин, и так тесно прижимался цветок к цветку, что еле видны были между ними зеленые листья.

За городом волнисто простирались бесконечные поля, безграничное золотистое море, из которого там и сям выделялись кроваво-красные островки мака или, как клочек неба, мелькали васильки. Праздничное благоухание поднималось из плодородной земли, все стремилось, толкало к завершению, к процветанию; все праздновало воскресенье, день солнца.

Волшебник-солнце проникало даже и в серые дома, и тесные каморки расширялись внезапно от врывающейся волны всепобеждающего света; на измученных тяжелой зимой лицах ложился праздник природы, в привыкших ко тьме глазах заиграли солнечные лучи.

Густав Зельдер укладывался; Лена и Иоганн помогали ему. Близорукие глаза Густава ищуще ощупывали комнату.

— Где моя синяя тетрадь, Лена, в которой мои заметки? Я ее должен взять с собой.

Сестра засмеялась:—Да перед самым носом твоим, слепой крот. Да поторопись, хочется на воздух.

— Сейчас, сейчас! А книга с таблицами? Я ее не вижу.

— Господи, надоел со своими книгами!

Густав заботливо укладывал книги, обертывая одну за другой в газетную бумагу и почти нежно укладывая их в сундук.

Наконец, все было готово.

— Вот,—с удовольствием произнес он,—теперь каждый из нас получит папиросу в награду, но отойди от окна, Лена, чтобы не видели тебя курящей.

Она уселась на запертом сундуке.

— Ты рад, Густав?

— Чему?

— Что уезжаешь.

— О, да. Здесь, конечно, приятно, спокойно работать. Но когда я подумаю об инструментах и лабораториях, которые имеются в Берлине!—Близорукие глаза засветились удовольствием.

— Да неужели ты и там будешь торчать над своими книгами?

— Конечно. А что же другого мне делать? Пусть меня только этот противный парень, шурин Ильзы, оставит в покое со своими корпорациями! И зачем только отец ему написал, что я еду в Берлин?

Лена засмеялась:

— Наивное дитя! Да для того, чтобы ты завел «хорошие» знакомства, вошел бы в «общество». В корпорации Адальберта почти одна лишь аристократия.

Густав беспомощно посмотрел на нее.

— А что мне собственно делать с этими людьми? Они ведь ничего не знают, играют, пьют, дерутся и...—он запинался, приискивая приличные для девичьего уха выражения,—и проводят время с женщинами. Лучше бы мне иметь рекомендации к профессорам.

— Разыщи Анатолия Зильберблята. Он попал в интересный круг,—заметил Иоганн.

— Не нужен мне ваш милый Анатоль. Нет, не потому, Лена, что он еврей. Незачем тебе смотреть на меня так свирепо. Я уважаю евреев. Они много дали в области науки; но эти господа с их лихорадкой человекоосчастливления мне несносны; они всюду кричат, думают своими речами достигнуть чудес, а в конце-концов все остается, как было. Что мне политика? Есть только одна истина на свете: наука!

— Но если ты пойдешь избирать, надо же тебе иметь какие-нибудь политические убеждения!

— Убеждения? Во-первых, я более чем вероятно никогда не буду избирать. Все это в общем мне в высшей степени безразлично. Но если я все-таки это сделаю, то я подам голос за того, от кого можно большего ожидать для науки.

— Как, даже социалиста?

— А почему бы и нет? Все эти партийные дела мне представляются ребячеством. Я знаю, Лена, что я тебя оскорбляю в твоих самых священных чувствах. Впрочем, одного социалиста для нашего почтенного консервативного дома достаточно.

Лена покраснела.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Что я не так слеп, как вы все думаете, и великолепно знаю, почему первого мая моя сестрица уже в семь часов ушла спать из-за головной боли и просила, чтобы ее, ради Бога, не беспокоили. Думаешь ты, глупышка, что в этом городишке ты можешь ходить неузнаваемой на социал-демократические собрания?

Она посмотрела на него полуиспуганно, полувызывающе.

— Ты это скажешь отцу?

— А зачем? Каждый может делать, что ему хочется, и, между нами, отец со своим «Deutschland über Alles» еще более несносен, чем ты со своим пролетариатом. Я интернационалист, нет, не в таком смысле, как ты. Об'единение всех научных работников для требований науки. Впрочем, ты—интересный случай, Лена.

Предки—одни лишь пасторы да учителя, а последний продукт—дикая революционерка. Удивительная реакция, отражающая наверное какого-нибудь предка из каменного века. Надо было бы.

— Густав, тебе только девятнадцать лет. Неужели нет ничего, что могло бы тебя воспламенить?

Изумленный взгляд был ей ответом.

Вот глупая! Да работа моя, конечно. Кроме того,—добрая улыбка осветила некрасивое лицо,—иногда еще и моя сестричка. Теперь только, уезжая, я начинаю замечать, что порядком таки люблю этих двух дурачков в нашей семье, тебя и Иоганна.

Она вскочила и бурно обхватила его.

Ты все-таки значит человек, Густав!

Осторожней, Лена, мои очки!

* * *

Иоганн потушил свечу. Бледный лунный свет залил комнату; неуютные тени задвигались по стенам. Сквозь открытое окно тихий ночной ветерок приносил запах свежескошенного сена. Иоганн вперил неподвижный взгляд на опустевшую улицу, которая, подобно темному ущелью, казалось, убегала в бесконечность. Кое-где мелькал еще свет в комнатах; боязливо мерцавшие огоньки боролись с ночной тьмой.

Сегодня, после обеда, уехал Густав. Вся семья провожала его на вокзал. Учитель гимназии, гордый сыном, который с отличием окончил школу, говорил громко и внушительно, как если-бы его последние мудрые наставления касались и носильщиков. Фрау Зельдер отдалась радостно-грустной растроганности, а Лена поразила всех, разрыдавшись при отходе поезда.

— Доброе дитя,—шепнула фрау Зельдер мужу,—в ней все-таки сильна семейная привязанность.—А Лена до боли сжимала руку Иоганна.—Он может уехать, а я должна здесь остаться. Господи, если-б не существовало семьи!

Иоганн улыбался про себя: он вспомнил маленькую комическую сцену, происшедшую накануне между отцом и сыном. Он и Густав уже были в кроватях, когда учитель гимназии вошел и опустился на стул возле стола. Он казался растроганным и несколько смущенным.

— Ты уходишь в широкий свет, Густав, не забывай там поучений своего родительского дома. Ты узнаешь различных людей, никогда не забывай, что ты лютеранин и немец.

Густав пробормотал что-то невнятное в подушку.

Учитель гимназии поднялся и стал ходить взад и вперед по комнате. Он поперхнулся несколько раз, остановился у умывальника, переставил стакан с одной стороны на другую и, наконец, продолжал:

— Одно из свойств, выгодно отличающее нас, немцев, от представителей других наций, это наша чистая, красивая, семейная жизнь.—Он остановился, беспомощно оглядываясь по комнате. Густав насмешливо оскалился.

— Ты, как я уже сказал, будешь встречать различного рода людей... людей, то-есть... не одних только мужчин... Опасность больших городов... Не все женщины похожи на твою мать и на сестер. Есть и...—он еще раз запнулся.

— Проститутки,—спокойно закончил Густав,—я знаю, отец, что ты хочешь сказать. Не беспокойся обо мне. Я вообще не переношу женщин, они только отнимают драгоценное время, а научиться от них тоже нечему. Кроме того, это очень спорный еще вопрос в науке, вредно ли воздержание: Форель, например, возражает профессору...

Учитель гимназии быстро подался к двери.—Спокойной ночи, Густав,—прервал он сына, открывая дверь,—спокойной ночи, Иоганн!

Иоганн опять стал серьезным; он думал об уезжающем товарище. Завтра он будет в Берлине. Он начинает свою собственную жизнь. Весь мир открывается перед ним на долгие годы, в течение которых он может соприкасаться с ним. Как спокоен он был при этой мысли. Для него свет—его излюбленная наука, он не заглядывает ни направо, ни налево, идет своей прямой ровной дорогой между двумя высокими стенами вдали от жизни, чуждый людям. И это отчуждение, которое так мучит Иоганна, его нисколько не волнует. Он совершенно не видит людей, не имеет представления об их горестях и радостях.

Через год он сам уйдет в этот мир; он глубоко вздохнул. Не окажется ли это прыжком в огромное темное море с бушующими волнами? Не изменят ли ему силы? И куда понесут его волны, куда стремится он? Он не такой, как Густав. Наука для него не все. Чего же собственно он хочет? Он подумал о Лене. «Я хочу помочь людям бороться за лучший мир», сказала она недавно. Она верила в победу. Ее порывистый упрямый темпе-

рамент увлекала борьба. «Помочь людям», да, и он стремился к этому. Но необходимо для этого стать ближе к ним.

Помощь сверху отталкивала его. Нужно войти в самую массу, бороться в ее рядах, с нею, не только за нее.

Ему пришел в голову Анатоль Зильберблят, писавший восторженные письма из Берлина. «Я принимаю участие в рабочем движении, мы ведем пропаганду, устраиваем собрания, просвещаем массы. В университете много русских, которые хорошо знают революционную работу. Хорошо, что ты выиграл год учения. Приезжай к нам скорей». И он верит в свою работу, в применяемые ими средства. Пропаганда? Вот уж десятки лет, как она ведется, как устраиваются собрания, просвещаются массы. И, несмотря на это, нищета все растет, закрепощая бесправных более, чем когда-либо.

В руках немногих находится судьба многих.

Богатство страны не течет, подобно благословенному ручью, через все слои, а тяготеет, как тяжелое бремя, над измученными, натруженными телами. Прогресс, достигнутый столетиями, еле заметен. Если так пойдет дальше, то поколения за поколениями падут жертвой раньше, чем будет достигнуто царство справедливости.

Что же нужно поставить на место пропаганды словом? «Пропаганду действием», —прорезалось из тумана в его мозгу. Нет, и единичные действия не принесли спасения. Что дали России героические подвиги Каляевых, Сазоновых? Они достигли того, что напуганная, дрожащая за свою жизнь и богатство буржуазия, теснее сплотилась, образовала более компактную массу, которую еще труднее побороть. Каким образом, какими средствами можно достигнуть победы?

Иоганн выглянул в окно. Как холодно и грозно глядит луна с неба! Не напоминает ли она бессердечного властелина, который спокойно и бесчувственно, в полном сознании своей мощи взирает с высоты на борющихся, страждущих, замученных подданных.

Маленькая тучка, гонимая ветром, на минуту закрывает ее, но вновь торжествующе показывается ее насмешливо-злобное лицо. Странное чувство овладело Иоганном. Удастся ли облачку затмить навсегда эту дышащую злобой мощь? С напряжением не сводил он глаз с неба. Туча за тучей набрасывалась на грозное лицо, но рассеивалась от холодных лучей, подобно копьям,

врезывающимся в пушистую белизну облака. На западе, однако, все больше скоплялись темные, грозящие бурей облака. Со всех концов неба неслись они. Поднялся ветер, могучая черная масса боролась с луной. Молния прорезала небо. И вот черная масса навалилась на луну, поборола ее, мощно втянула в свое грозное темное море. Луна исчезла. Сильные раскаты грома прорвали ночь. С воем бросился вихрь на дома. Буря победила!

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Лена Зельдер быстро поднималась на четвертый этаж большого, набитого жильцами берлинского дома. Здание находилось в бедном квартале, в узкую улицу не попадал ни один солнечный луч, а в этот холодный зимний день улицы и дома имели особенно безутешно-грустный вид. Грязная, растрепанная женщина мыла лестницу.

— Господин Зельдер? На четвертом этаже, вторая дверь налево.

Лена постучалась. Ответа не последовало. Неужели Иоганн еще спит? Она еще раз постучала и вслед за тем дернула звонок.

Дверь соседней комнаты открылась, и выглянула темная голова.

— Его нет дома, он вернется лишь часам к двенадцати. Господи, Лена! Как ты здесь очутилась?

— Анатоль! И ты здесь живешь? Впусти меня. Я только что приехала и вся продрогла.

Анатоль Зильберблят вышел в корридор. У него был усталый и заспанный вид.

— Как ты очутилась в Берлине?

Она рассмеялась немного смущенно:

— Я мимоходом.

— Да, но...

— Я расскажу тебе все, впусти меня в комнату погреться.

— Войди, но я не один.

Она последовала за ним. Комната вся утопала в синеватом табачном дыме; за письменным столом сидел пожилой человек с легкой проседью и что-то писал. На диване развалился человек помоложе.

— У нас гостья,—оповестил Анатоль,—приезжая из дому. Кернер, это сестра Зельдера, о которой мы уж не раз рассказывали. Савин, подвинься, она очень устала с дороги.

Пожилой человек, не поворачиваясь подал Лене руку, а молодой русский быстро поднялся с дивана.

— Мы вас уж хорошо знаем, фрейлейн; Иоганн часто говорит о вас. Какие у вас холодные руки. Дай спиртовку, Анатоль. Нужно вскипятить для нее чаю.

Немного растерянная, озирала Лена комнату. На неубранной кровати валялись газеты, единственный стол весь завален был книгами. На полу валялись окурки папирос и пепел. Она украдкой взглянула на находящихся в комнате. Анатоль несколько переменился: лицо его стало жестче, энергичнее, веки несколько покраснели, как от недосыпанья. Человек за письменным столом имел вид немца: добродушное, обветренное лицо с бесчисленными морщинками и складками; острая черта возле рта придавала ему выражение глубокой грусти, противоречащей живому выражению голубых глаз, в эту минуту поднявшихся с бумаги и дружески улыбнувшихся Лене. Савин стоял у умывальника, прополаскивая стакан и возясь с чайником с отбитой ручкой; движения его были мягки и ловки, как у женщины. Не тот ли это молодой русский, который удрал из московской тюрьмы, и о котором ей писал Иоганн?

Анатоль сбросил несколько газет на пол, чтобы очистить место, и уселся на кровати.

— Что, собственно, хочешь ты здесь делать, Лена?

— Я еще не знаю,—отвечала она несколько смущенно.— Надеюсь уговорить Густава, чтобы он меня приютил у себя.

Анатоль рассмеялся.

— Густав? Проще всего будет, если ты пойдешь к нему, уютно устроишься там, у него ведь две комнаты, у этого буржуя, и не будешь много разговаривать. Недельки через три он, может-быть, заметит твое присутствие. Тогда ты можешь уговорить его, что ты там всегда была и что он только забыл об этом...

— А он разве так занят?

— Занят! Скажи лучше, помешан. По целым дням торчит он в лаборатории, а вечера проводит за своими книгами до поздней ночи. Мы недавно были у него, я и Иоганн, он был очень любезен, очень рад нас видеть. Но через пять минут он сказал:— А не уйдете ли вы сейчас, детки? Мне нужно работать.

Савин подал Лене стакан чаю.

— Вы, вероятно, очень устали, фрейлейн, снимите шляпу. Анатоль, брось сюда подушку. Ей неудобно сидеть.

Он засунул ей подушку за спину, покрыл ее озябшие ноги пледом, зажег ей папиросу. И опять подумала Лена, что он нежен и заботлив, как женщина. Она совершенно иначе представляла себе русских революционеров.

В это время Анатоль поднялся к письменному столу и вполголоса о чем-то говорил с Кернером.

Лена почувствовала себя одинокой и потерянной. Какая-то тоска по ненавистном родительском доме овладела ею. Что она делает тут, между этими чужими людьми? К величайшей своей досаде, она почувствовала, что слезы навертываются ей на глаза и сдержанные рыдания сжимают горло.

Савин как будто почувствовал ее настроение. Он осторожно отодвинул чайник и присел на краю стола.

— Вам странно, неправда ли, немного чуждо и неуютно? Не надо грустить, фрейлейн. Через недельку вы себя здесь почувствуете как дома. Иоганн вам очень обрадуется, я думаю он все время скучает по вас.

Мягкий славянский голос на нее хорошо подействовал. Она почувствовала, что мужество возвращается к ней.

— Мы скоро найдем работу для вас,—продолжал молодой русский,—ведь вы наша?

— Конечно! Но... я так неопытна... Я ведь ничего не знаю.

Он усмехнулся.—Мы сведем вас как-нибудь в рабочий квартал, фрейлейн. Если б вы видели этих детей: рахитичные, заморыши, с бледными старческими лицами, испуганными голодными глазами. А эти женщины—ведь это не женщины, а какие-то вьючные животные, рабочие машины. Когда вы все это увидите, вам сразу станет ясно, в чем дело.

Он говорил тихо, чтобы не мешать Анатолю и Кернеру, но ледяной гнев и с трудом сдерживаемая ярость, звучали в его голосе, серые глаза заблистали.

— Я бы так охотно работала,—сказала она, вздрагивая.

— Вы и будете работать. До сих пор вы все это знали из книг. Когда же вы увидите это в жизни, эту нищету наряду с богатством, эти шикарные улицы, этих важных людей, и когда будете знать, что из-за каждой такой элегантной дамы, из-за каждой такой франтихи сотни жизней погибают, лишаются всякой возможности счастия или просто человеческих прав,

тогда вам совершенно не будет жалко, что вы оставили свой уютный родительский дом.

Лена невольно улыбнулась. —Не так уж был он уютен, — вслух подумала она, — теперь все зависит от брата.

— Ваш брат —замечательный человек,—сказал Савин.—Совершенное незнание жизни. Он представления не имеет о том, что вокруг него происходит. Несмотря на это, он мне очень нравится. У него сильно развито чувство справедливости. Недавно на одной фабрике очень несправедливо рассчитали рабочего, отца шестерых детей. Ваш брат, который в это время как раз вел переговоры с фабрикантом по поводу одного своего небольшого изобретения, узнав об этом случае, прервал переговоры, заявив что не желает иметь дела с такими свиньями.

– Густав?—с радостным изумлением воскликнула Лена.

— Да, но его отказ был характерно обоснован: —Такой человек, —сказал он,— позорит науку и поэтому не имеет права извлечь из нее какую-нибудь пользу.

Оба засмеялись. Савин налил ей еще стакан чаю.—Теперь вам теплее?

Она утвердительно кивнула головой. —И на душе? —Да, откуда вы знали, что мне было тяжело?

Он стал серьезен. —Ведь и я происхожу из этой проклятой буржуазной среды и знаю, сколько нам приходится стряхивать с себя. Эта обеспеченная, спокойная жизнь цепляется за нас, как репейник, препятствуя всякому движению. Я часто завидую таким людям, как Керпер.

Она вопросительно посмотрела на него.—Это бывший рабочий; теперь он секретарь союза металлистов. Этот человек знает лишь одно: рабочее движение, это его жизнь, его счастье, его надежда.

Анатоль подошел к ним.

— Идем, Лена, мы встретим Густава у университета. Вот он изумится, когда тебя увидит.

Но Густав совершенно не был поражен неожиданным появлением сестры. Он взглянул на нее, приподняв глаза от книги, рассеянно кивнул с приветливым: —Ты, Лена? Очень мило, что зашла ко мне. Садись, минуточку! Я сейчас готов.

Из минуты получилось полчаса. Наконец, он закрыл книгу и повернулся к сестре.

— И мама здесь?

— Мама? Нет...

— Неужели они тебя одну пустили в Берлин. Меня очень удивляет...

— Они даже не знают, что я здесь. Они думают, что я в деревне, у родителей мужа Ильзы.

Густав остался бесстрастным:

— Так, а что собственно тебя тянуло сюда?

— Я уже не могла больше терпеть этого дома. Ты же знаешь, как у нас. И я думала... Густав, хороший, милый Густав... Дай мне остаться у тебя...

— У меня?

Она уселась на ручке его кресла и, гладя его по голове, в взволнованных выражениях говорила об однообразии и невыносимости жизни в родительском доме.

Он сокрушенно посмотрел на нее:

— Почему ты, собственно говоря, не выходишь замуж? Ты ведь стала совсем хорошенькой, и у тебя приличное приданое. Тебе ведь нетрудно найти жениха.

Лена рассмеялась почти сквозь слезы. Во-первых, никто еще ко мне не сватался, а главное, выйти замуж? Вести жизнь, как Ильза, у которой вся жизнь вертится вокруг ее ребенка и ее противного Адольфа?

— Дай мне здесь остаться, я тебе ни чуточки не помешаю.

— Не помешаешь? Сегодня вечером я из-за тебя полтора часа потерял.

— Это было лишь сегодня, пока мы обо всем поговорили. Густав, я прошу тебя...

— Не толкай письменного стола. Ты перепутаешь все мои бумаги. Разве ты непременно должна жить у меня? Ты же можешь пойти в пансион. Я каждое воскресенье буду навещать тебя.

— На это родители никогда не согласятся.

Теперь она плакала, прижавшись тесно к брату. Он неловко гладил ее кудрявые волосы.

— Осторожнее, ты зальешь своими слезами все мои записки. Рядом со мной есть свободная комната. Там ты могла бы жить...

— Какой ты хороший!

— Подожди, не так стремительно. Давай раньше обо всем условимся:

— Ты можешь завтракать со мною, но не должна при этом разговаривать; это меня отвлекает. Днем я не бываю дома, пусть тогда Иоганн о тебе заботится или друзья его. Вечером мы можем вместе обедать, но ты должна взять книжку и не болтать. Моего письменного стола ты не касаешься. Ты не должна также приставать с глупыми вопросами, вроде: «Над чем ты теперь работаешь?» или «Что означает эта формула?». А после ужина ты меня должна оставить в покое. Согласна ли ты?

— О, да, да, спасибо, милый, добрый Густав!

Ну, так иди к моей хозяйке и растолкуй ей все. Конечно, скажи ей, что ты моя сестра, а то она бог знает, что подумает. Сегодня у меня для тебя нет больше времени. Спокойной ночи.

Да, но, Густав...

— Что еще?

Ты должен также написать родителям. Если ты их попросишь оставить меня здесь, они согласятся. Они так тебя уважают. И чтобы они прислали мой сундук. Он уже уложен.

— Ах, это еще! — Он бросил взгляд полный отчаяния на часы. — Еще полчаса потерять! Ну, ладно, теперь иди!

Перед тем, как лечь спать, Лена подошла к открытому окну. Бесчисленные огоньки сияли в темном ночном небе, трепетно мерцая в воздухе. Темные громады домов тяжеловесно высились перед ней, стучали экипажи, автомобили с резкими свистками проносились по улицам. Город пыхтел, выбрасывая удушливый, темный воздух. Какая то тяжесть легла на сердце девушки. Все эти бесчисленные дома, а в домах люди, люди. Громадные великолепные палаты, в которых развалилось богатство, жалкие клетушки, в которых сжалась бедность, трущобы, притоны, в которых задыхается теснится нищета. Последнее слово бросило новый образ в ее мозг. Теснящаяся, задыхающаяся нищета, это готовый к прыжку хищный зверь, напрягший все мускулы в ожидании этого прыжка. Скоро-ли этот мощный зверь бросится на врага?

Она вздрогнула и закрыла окно.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ.

Через несколько дней после приезда Лены, Иоганн зашел за ней как-то вечером:

— Пойдем к Борису Израилеву; он опять болен.

— А это кто — Борис Израилев?

— Один из моих лучших друзей и из наших способнейших голов. У него ты познакомишься также и со всем нашим кружком.

Она взяла его под руку.—Ты все еще хромаешь?

— Врач говорит, что это никогда не пройдет совсем. Как только я устаю, я начинаю волочить ногу. А сегодня я весь день бегал.

— Какая неприятность, этот прошлогодний перелом ноги во время катанья на коньках.

— Да, и кроме того хромога особенно неприятна тем, что это особая примета в случае поисков полиции.

— Иоганн, что у вас там?!

— Ага, твоя восточно-прусская буржуазная душа взволновалась при одном только упоминании полиции? Ты совсем еще дитя. Впрочем, Савин уж собирался тебя привлечь к работе. Ты ничего против этого не имеешь?

— Конечно, а что я буду делать;?

— Он сам с тобой об этом потолкует.

Они шли в морозной зимней ночи. Шаги их гулко звучали по тротуару. Через четверть часа они вошли в под'езд большого дома.

— Борис живет на пятом этаже.

Они вошли в обширную мансарду. Лене показалось, что она полна людей. Прежняя смущенность овладела ею. В кровати у стены лежал исхудавший человек с седыми волосами, плохо гармонировавшими с его молодым еще лицом. Иоганн подвел Лену к кровати.

— Вот Борис! Борис, я тебе привел мою сестричку.

Борис Израилев крепко пожал руку молодой девушке.

— Мы вас уже ждем. Садитесь, товарищ.

Лена повиновалась. Она оглядывала комнату со смущенным любопытством.

Здесь было уютнее, чем в комнате Анатоля. Бесчисленные книги по полкам, картины на стенах, большей частью портреты, между которыми много людей в русской арестантской одежде. На маленьком столике шумел самовар; даже алая герань украшала комнату. Она обвела глазами присутствующих. На единственном кресле сидела седая, старая женщина с тонкими интересными чертами лица. Она возбужденно говорила с Кернером, который ей что-то об'яснял. Савин в другом конце

вел дискуссию с каким-то молодым блондином. Старик с белой бородой грелся у печки. Анатоля не было.

Савин подошел к Лене.—Хотите знать, кто эти люди? У нас нет торжественных представлений, мы друг друга узнаем постепенно.

Борис смутился.—Простите, я совершенно забыл, что вы еще никого не знаете. Об'ясни ты, Савин, меня утомляет разговор.—Голос его стал хрипым, он закашлялся.

— Вы простужены?—спросила Лена необдуманно. Борис усмехнулся:—Нет, я тот неизбежный чахоточный русский еврей, который должен быть во всяком революционном кружке. Лена густо покраснела. Савин пришел ей на помощь.

— Итак, твоя личность, Борис, уже выяснена. Кто же из остальных вас больше всего интересует?

— Эта старая дама там. Она как-то сюда не подходит. нее такой спокойный вид, такой...—Она запнулась.

— Такой важный, хотите вы сказать, о дочь буржуазии! Вы как будто тоже верите, что революционеры непременно должны выглядеть, как разбойники. Эта старая дама горячая симпатия вашего брата Иоганна. Неужели он вам ничего про нее не рассказывал?

— Нет.

— Ее зовут фрау фон-Рейнер, и чтобы уж вас вовсе посвятить,—она урожденная англичанка. Она была замужем за каким-то умершим теперь министром, из настоящей прусской знати. Напишите об этом вашему отцу для успокоения. Он лукаво засмеялся, а Лена бросала ему сердитый взгляд.

— Я вообще не пишу моему отцу.

— Возмутительная дочь!

— Да, но каким образом эта женщина...

— Очутилась у нас, проклятых злодеев? Она очень неуютно чувствовала себя в этой феодальной среде. Ее единственной радостью был ее сын, милый, славный юноша, умерший год тому назад. В своем безутешном горе эта женщина с отчаянием ухватилась за его друзей, а эти друзья—это мы. Кроме того, ей, англичанке хорошего старого либерального пошиба, прусская система совсем не по душе. Во многих вопросах она нам, конечно, не единомышленница, но в главном мы с ней сходимся. У них что-то уж очень горячий спор. Послушаем, в чем дело.

Молодой блондин в этот момент резко выкрикнул:

— Саботаж—преступление! Насилием ничего не сделаешь. Только эволюция может нас двинуть вперед.

— Осел!—проворчал вполголоса Савин.—Саботаж мне представляется неправильным,—сказала старая дама,—потому что это трата ценного материала, однако в данный момент он может быть применен так же, как и всякая сила.

— Сударыня,—молодой блондин понизил голос и любезно улыбнулся.

— Исторический материализм...

— Пожалуйста, оставьте меня в покое с вашей теорией, Филипп, вы ведь знаете, что я в ней ничего не понимаю. Я уясняю себе только то, что видели мои старые глаза в течение шестидесяти семи долгих лет. А то, что я видела—уж очень оно было неприглядно—научило меня тому, что к справедливости нужно стремиться всеми возможными средствами,—будь это даже насилие, если другие безрезультатны.

— Насилие—это зло— раздался с печи глубокий певучий голос, —насилие—это зло. Дайте духу любви проникнуть в сердца, тогда настанет царство божье на земле.

— Наш пророк,—прошептал Савин Ленс,—раввин из России. Во время погрома перед его глазами убили его жену и двоих детей. С тех пор он немного помешался.

— А кто этот блондин?

— Он добрый малый, но уж очень глуп. Типичный немецкий ревизионист*). Человек, который в состоянии итти на все уступки и никоим образом не может мыслить будущее дальше завтрашнего дня. Вообще, немецкие товарищи...

— Не будь несправедлив, Савин.

Борис Израилев повернулся к товарищу:—Они хорошо работали.

— Но им не хватает размаха, священного огня, ясновидения. Они слишком прилипли к земле. Социализм не только вопрос заработной платы, философская теория. Социализм прежде всего религия! Немцы довольны, если они могут залепить пластырем раны человечества, сюда закон, туда закон. Но бьющая из раны кровь отталкивает пластырь, и организм

*) Т.-е. последователь Э. Бернштейна, «раз'яснившего» учение К. Маркса, как построенное на принципе эволюции (постепенного изменения), а не революции.

истекает кровью. Это несчастие для мира, что численно немцы играют руководящую роль в Интернационале.

- Патриот!—рассмеялся больной.—Что же ее перенять русским?

Не непременно. Может быть, итальянцам.

Борис покачал головой.- -Пламенный дух, но без необходимой глубины. Я верю в немцев. Когда дело станет серьезно, они выдержат испытание.

Савин пожал плечами.—Несколько избранных, за которыми пойдет толпа, но не партия.

Разговор стал всеобщим. Лена слушала молча. Непонятные слова ударялись об ее ухо. Новые понятия создавались в голове. Невольно она перенеслась мыслью в родительский дом. В это время отец сидит над тетрадями, а мать штопает и чинит. Ее родной дом показался ей маленьким островком на бушующем бурном океане; жители островка глухи к бою волн, к реву бури. Как много таких островков в Германии, как много людей, которые безрассудно считают себя в безопасности на них.

Когда разговор на минуту затих, она обратилась к Савину.

— Иоганн сказал мне, что у вас есть для меня работа.

Он утвердительно кивнул:

— Раньше я должен с вами позаняться. Ведь вы еще безгранично невежественны. Позже же мы вас пошлем к женщинам вести пропаганду.

— Меня?—Лена не на шутку испугалась.

— Да, несмотря на темные глаза и волосы, у вас совершенно арийский тип. Вашей пропаганды нельзя будет оборвать словом «жидовка».

Она молчала, несколько смущенная, он засмеялся.—Да, это бывает, и у Иоганна был такой случай.

Дверь внезапно растворилась. Анатоль спешно вошел.

— Ребята, началось на Балканах!

Все переглянулись. На минуту установилась пугливая тишина, которую прервал Филипп.

— Это нас мало касается,—спокойно заметил он.—Далеко!

— Разве преступление перестает быть преступлением от того, что оно происходит в другой части света? — с упреком сказала г-жа фон-Рейнер. Минуту царила тишина. Затем раздался болезненный выкрик старого еврея: «Горе и злодеяние! Грех и преступление! Пламя пожирает дом, и злой вихрь гонит

его все ближе и ближе. Кто охранит нас от пожара, когда дом соседа в пламени?»

* * *

— Как сильно ты переменился, Иоганн,—заметила Лена на обратном пути,—дома ты был всегда такой тихий и замкнутый, производил всегда впечатление чужого, чувствующего себя неуютно в непривычной среде.

— Оно так и было, —ответил он. —Меня та атмосфера давила. И затем на душе было так неспокойно, как если бы я должен бы на минуту передохнуть, а затем мчаться все дальше, все дальше. Куда? я и сам не знал.

— А теперь?

— А теперь, я как будто нашел пристанище. В этой маленькой комнате Бориса я чувствую себя дома. Эти люди мне близки. Я чувствую свою принадлежность к ним, мы говорим на одном языке. Я даже понимаю этого старого раввина Леви.

— Но это ведь ужасно, что на Балканах война.

Он кивнул головой.

— А что этот старик хотел сказать с пожаром?

— Он все толкует о мировой войне, которая накажет человечество за его безбожие. Но это вещь невозможная. Пролетариат во всех западных странах восстанет, как один человек. В день об'явления войны вспыхнет всемирная забастовка.

— Ты думаешь?

— Я в этом убежден.

Он дошел до квартиры Лены.

— Ты зайдешь?

— Нет, слишком поздно. Спокойной ночи!—Лена вошла в комнату брата.

— Густав, на Балканах началась война.

Он не оглянулся.

— Да, но это не основание, чтобы мешать мне. Какое мне дело до войны на Балканах.

Лена долго не могла уснуть. Когда она, наконец, забылась, ей стало мерещиться что-то кошмарное. Старый Абрам Леви стоял на высокой горе и с воплями указывал на долину. Страшное море огня трепыхалось, заливало все своими волнами, которые рвались все вперед, через села и города. Языки пламени лизали небо.

Она проснулась с бьющимся сердцем; неопределенный страх сдавливал ее грудь. В полусне она пробормотала, как утешительную волшебную формулу:

— У нас это немыслимо. Всемирная забастовка...

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Серый пейзаж ранней весны. Мчался поезд, мартовский вихрь мощными порывами схватывал клубы дыма и разрывал их в тонкие нити, которые он разгонял по бледно-голубому небу. Река, освободившаяся, наконец, от ледяных оков, в своем безудержном стремлении на свободу, выступила из берегов, заняла равнину, которая, незаметно заливаемая волнами, уподобилась одному огромному морю. Мрачные сосны сонно потягиваются, стряхивают свои зимние иглы, стройные березы, покрытые еще листьями, весенние, свежие и ароматные, в своих белых одеяниях, тянутся навстречу ласкающему бледному солнцу. На горизонте стая диких уток острым зигзагом прорезала воздух.

Лена далеко высунулась из окна вагона. Странная болезненная радость охватила ее всю. Как хороша родина, какой-то безутешной, грустной красотой, которая милее сердцу, чем благословенные, благодатные края юга. После полутора лет отсутствия она впервые возвращалась домой. Мать уехала на год с Ильзой, которая зимой захворала, и Лена должна была ее замещать дома. Она неохотно покидала Берлин, хоть и чувствовала, что нуждается в отдыхе. Иоганн и его друзья использовали ее рабочую силу во всю; каждая минута была чем-нибудь занята. Савин пришел в негодование, узнав об ее отъезде; он опасался, что ее затянет опять буржуазная среда, что она может выйти замуж или по крайней мере перемениться и вернуться назад непригодной для прежней работы.

Лена улыбалась при одной мысли об этом. Последний год с его переживаниями и образами глубоко врезался в ее душу. Один за другими то и дело возникали в ее душе настроения, картины пережитого, яркие, как в момент переживания.

Первое мая в Берлине; сияющее золотыми лучами солнце, глубина голубого неба.—Королевская погода,—сказал толстый бюргер своей жене, забыв, что день этот посвящен другому властелину, обездоленному, единственно законному вла-

стелину мира, рабочему люду, который раз в год проникается сознанием своей власти и достоинства. Вдоль Лип *) потянулся кортеж, бесконечный, глазом не охватить. Организация за организацией. Руки, труд которых создает и поддерживает мир, отдыхали не обычным своим воскресным отдыхом, бессознательным, лениво-усталым; нет, это был отдых, полный сознания своего достоинства и силы, своей непобедимой мощи в этот день своего собственного великого праздника. Лена вспомнила одну группу, которая ее особенно поразила—группу женщин-судомоек. „Женщин"—это слово казалось насмешкой в применении к этим созданиям. Неуклюжие, сгорбленные, искривленные ревматизмом фигуры, истощенные бледные лица тяжелыми шагами тащились в кортеже, синие, красные потрескавшиеся руки висели безнадежно. И все-таки, даже в этих усталых глазах светился праздничный отблеск, чувствовалось сознание своей силы; сегодня они были не разрозненные, надломленные непосильной работой, недоедающие вьючные животные; сегодня они обрели свое место, стали частью мощной массы, требования и чаяния которой гордо звучали под ярким весенним небом. Организация за организацией, толпа за толпой, все воодушевленные одним чувством, движимые одной мыслью. А во главе шествия, развевающийся по воздуху символ мученичества, символ надежды и великого об'единения—красное знамя.

Символ мученичества! Лене припомнился зимний вечер у Бориса Израилева, где она была с Иоганном и Анатолием. Они сидели, покуривая в сумерках у печки, и Борис, который себя чувствовал лучше обыкновенного, рассказывал им о русском рабочем движении, его вождях и героях.

– Расскажи Лене про свою жизнь в тюрьме, это на нее произведет громадное впечатление,—сказал Иоганн.

– Но я всего четыре года пробыл в Шлиссельбурге,—уклончиво сказал Борис.

— Всего четыре года!—с ужасом воскликнула Лена

— Не знаете вы разве, что многие из моих товарищей были в тюрьме по двадцати и больше лет?—И он стал рассказывать. Перед ее глазами возвысилась мрачная крепость на пустынном острове Невы, окутанная тяжелым туманом, место ужаса, безу-

*) «Unter den Linden»—(липовая аллея)—одна из главных улиц Берлина (*прим. перевод.*).

мия и смерти, но также и освященное место. За этими непроницаемыми стенами, в одиночках и застенках жили лучшие люди России. Некоторые из них были сломлены тяжестью судьбы; вечное одиночество свело с ума одних, другие покончили с собой, чтобы своей жуткой смертью облегчить судьбу своих товарищей. Большинство же сохранило силу и мужество, даже когда их тела разрушались.

– Верующие католики средневековья,—сказал Борис, — были убеждены, что святость церкви дает грешному свету отпущение грехов, и молитвы монахов и монахинь ступаются в покрывало, которое простирается между богом и людьми, охраняя последних от гнева божия. Чем были в средние века монастыри, тем стали для России тюрьмы. Эти места пыток и немого героизма искупили грехи страны и дали вечную живучесть идее. Бесконечная любовь, горячий порыв к свободе наших мучеников зажгли сотни молодых борцов. Каждый заключенный, как факел освещал ночную тьму и указывал дорогу будущему.

Поэтому, Россия—страна величайшего страдания—в то же время и страна будущего, откуда свет польется во все концы мира,—тихо сказал Иоганн.

— Ex orientae lux*)—сказал Анатоль.—Раз там уже зажегся свет, но врагу удалось его потушить. Если же он вспыхнет вторично, он будет так могуч, что прорвется во все страны и окончательно прогонит тьму.

* * *

Учитель гимназии сам пришел на вокзал встречать дочь. Он показался Лене постаревшим, более мрачным, хотя и казался очень обрадованным ее приездом. В первое мгновение они оба были несколько смущены, стояли друг против друга, как чужие. Из соседнего купэ вышла молодая женщина. Господин Зельдер почтительно поклонился, помог ей снять ее сумку и видимо был доволен этим отвлекающим обстоятельством.

Медленно шли отец с дочерью по улицам. Господин Зельдер расспрашивал про Густава, рассказывал об Ильзе и матери. Лена отвечала почти механически. С изумлением она осматривала здания. Как малы и тесны они! Ей казалось, что весь городок как-то с'ежился и сжался.

---

*) Свет идет с Востока.

- Кто эта красивая дама, с которой ты поздоровался на вокзале?—спросила она, когда наступила маленькая пауза.

— Молодая графиня Штромвиц. Граф Гейнц женился год тому назад. К сожалению, он почему-то нашел себе итальянку. Его родители были в отчаянии. Это смешение рас в наше время ужасное зло. Чужой элемент врывается в чистокровную немецкую семью. У нее и имя какое-то сумасбродное—Джойя или что-то в этом роде.

— Это значит—радость. Как прелестно!

— У нас, кажется, довольно красивых девушек,—продолжал учитель гимназии, не обратив внимания на ее вставку,—хорошо воспитанные немецкие девицы, более подходящие матери для будущих владельцев майоратов. Я бы своим детям никогда не позволил жениться на иностранках.

— Бедный папа,—подумала Лена,—твои дети тебя спрашивать не будут.

Они дошли до дома. Когда Лена вошла в комнату, ей показалось, что она никуда не уезжала. Все было совершенно по прежнему. Красный плюшевый альбом все еще лежал на большом столе в зале, а рядом с ним рабочая корзинка матери. И люди остались такими же. Здесь, в этом маленьком городке время как бы остановилось. За столиками в кафе разбирались все еще прежние темы: нужда в прислуге, помолвки, свадьбы, рождения и смерти. Читали все ту же «Беседку» и «Неделю», и оставались так же незатронутыми какими бы то ни было политическими событиями. С радостью встречалось известие о рождении какого-нибудь члена императорской семьи...

Через неделю после своего приезда Лена встретила старого пастора. Он подошел к ней с распростертыми об'ятиями.— И он стал как-то меньше,—подумала девушка, рассматривая согбенную старую фигуру.

Старик стал расспрашивать про Иоганна и не мог наслушаться о своем любимце.—Теперешние ученики меня совсем не радуют; я думаю, они меня украдкой высмеивают,—с горечью жаловался он,—да и я не понимаю теперешнюю молодежь.

— Еще один, кому мешает прогресс,—нетерпеливо подумала Лена, но сейчас же устыдилась этой мысли, потому что старик продолжал:—Уже совсем нет человеческих идеалов. В наше время, в семнадцать или восемнадцать лет мы уж мечтали о свободе и человеческих правах, даже и те, что позже

становились мирными бюргерами. Теперь молодежь вся предана милитаризму и коммерции. К тому же она крайне эгоистична и нечутка. И этим трезвым головам мне нужно проповедывать любовь! Конечно, они никогда и не являются на мою проповедь. Но в этом, возможно, и я виноват: я слишком скучен.

Добрые старые глаза с такой искренней горечью смотрели на нее, что Лена дала себе слово каждое воскресенье ходить в церковь.

А какова молодежь в городе, дитя мое,—спросил старик. Вы наверное знаете многих из друзей Иоганна.

Они между тем незаметно подошли к пасторскому дому. Старик привел Лену в сад. Они уселись на скамье, на солнышке; древняя хромоногая собака подошла к ним и стала тереться мордой о колени своего хозяина.

Лена стала рассказывать про Иоганна и его друзей. Речь ее потекла горячо. Вот уж неделя, как она не могла произнести слова, не обдумав его предварительно всесторонне. Старый пастор слушал с интересом и утвердительно кивал седой головой.

— Вы называете это социализмом?—сказал он наконец— Мы это называем христианством. Это почти то же самое. Бог— это любовь, а любовь—это бог. Благо нам, если мы можем уразуметь эту простую истину. Но,—голос старика стал внезапно жестким и резким, —что мы сделали из христианства? Мантию, чтобы прикрывать свои грехи, знаменем, под которым мы грешим против священнейших заповедей. Торгаши осквернили храм, и на кресте, с которого они сорвали спасителя, они распинают бедных.

Старик преобразился. Внезапно исчезла его старческая дряхлость, маленькая фигура как бы выросла и полна была достоинства.

Девушка с участием смотрела на него.

— Удивительно, как он теперь похож на старого раввина, Абрама Леви,—подумала она.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

В маленьком садике у пасторского дома на маленьком столике был сервирован старинный кофейный сервиз со старомодной пузатой серебряной сахарницей и маленьким изящным медным подносиком, которые перешли к пастору еще от ма-

тери. Старик маленькими шажками деловито семенил взад и вперед, отрезал от любимого розового куста самые красивые цветы и клал их на белоснежную скатерть, тщательно сняв с них сперва шипы. Лена Зельдер сидела в глубоком плетеном кресле и улыбаясь смотрела на него хлопоты.

— Да отдохните же немного, господин пастор,—сказала она наконец,—все прелестно, и вы не должны выбиться из сил еще раньше, чем придут гости.

Старик положил ей на колени прелестную розу.—В благодарность за то, что вы пришли мне помочь. Бедная, маленькая иностранка будет очень рада застать здесь человека, с которым она сумеет поговорить по-французски. Ее немецкий все еще немного хромает.

Он уселся возле Лены.—Будьте с ней приветливы, с этой молодой женщиной. Мне кажется, бедное дитя чувствует себя здесь очень покинутой и чужой. Я мало обращаю внимания на людские толки, однако слышишь много кое-чего.

— Как это Гейнцу Штромвицу пришла идея жениться на итальянке?

— Он с ней познакомился во Флоренции. Бабушка ее была дальней родственницей Штромвицов.

Старая экономка прибежала запыхавшись; ее добродушное румяное лицо еще более раскраснелось от возбуждения.

— Гости едут, —сообщила она, переводя дух.

Старый пастор пошел встречать гостей. Пока он их приветствовал, Лена с интересом рассматривала обоих. Гейнц Штромвиц мало изменился: все та же барская, высокомерная физиономия, тот же холодный взгляд. Его высокая, хорошо сложенная фигура была слишком пряма.—Как он говорит со стариком!—мысленно возмущалась Лена.—Эта снисходительно-любезная манера, как с подчиненным.—Взгляд ее упал на молодую женщину.—Джойя, радость, как это имя подходит ей!—Все в этой стройной фигуре дышало жизнерадостностью: отсвечивающие червонным золотом горячего оттенка рыже-каштановые волосы, большие светящиеся темные глаза и свежий ярко-розовый рот.—Бедненькая!—подумала Лена,—как попала ты в наш трезвый, бесцветный край?

Джойя Штромвиц казалась несколько смущенной. Вежливо, как благовоспитанное дитя, отвечала она на вопросы старого пастора. Она говорила по-немецки правильно, но медленно и

запинаясь, как будто подыскивая слова. Гейнц Штромвиц вежливо поздоровался с Леной и осведомился о Фрихиософе и Густаве.

Настроение за столом было холодное, неуютное, разговор все прерывался, и пастор бросал Лене зовущие на помощь взгляды. Лена обратилась к молодой женщине:

— Может, вы охотнее говорите по-французски, графиня?

Темные глаза засветились радостью. —Вы говорите по французски? Как славно! Тогда мы можем, как следует, поболтать.

— Привыкни, наконец, к тому, чтобы говорить по-немецки, Джойя, —с явным нетерпением сказал ей муж.

Она посмотрела на него почти боязливо. Старый пастор вмешался.

— Идемте, граф, вы хотели посмотреть мои ульи. Оставим дам здесь.

Гейнц Штромвиц последовал за стариком по направлению двора, а Джойя живо обратилась к Лене по-французски:

— Откуда вы знаете французский язык и почему я вас еще не видела?

Лена улыбнулась ее живости: —Французский я знаю еще со школы, таков он и есть. Что касается вашего второго вопроса, то я вернулась теперь домой после полуторагодового отсутствия.

— А где же вы живете?

— В Берлине.

— А вы были когда-нибудь в Италии?

— Нет.

— Жаль, мне так бы хотелось поговорить с кем-нибудь кто бывал в Италии и любит ее.

Сильная тоска по родине зазвучала в мягком голосе. Лена спросила участливо:

— Скучаете вы по родине?

— О, как сильно! Здесь тоже очень хорошо,—прибавила она полуиспуганно, как бы боясь, что оскорбила любовь молодой девушки к ее родине,—но все как-то здесь бесцветно, так холодно! И эта бесконечная зима! Я прямо в отчаянии, что так долго не вижу солнца. И эта большая, серая равнина так мрачна! У нас такие приветливые ландшафты, так сини, так мягки линии холмов; здесь все угловато и жестко, совсем как люди! —Она опять смущенно посмотрела на Лену. —Простите меня, я не хотела сказать ничего плохого о ваших земляках.

Лена рассмеялась. —Вы могли это спокойно сделать. Я тоже нахожу здешних людей противными. Много у вас знакомых?

Джойя грустно кивнула головой. —Очень много, у Гейнца бесчисленные родственники. У нас бывает столько посетителей, и я не знаю, о чем мне с ними говорить. Детей у меня нет, о берлинской придворной жизни мне ничего неизвестно, все же остальное их не интересует. Мне жалко этих людей; жизнь их так бедна, а ведь на свете столько прекрасного!

— Прекрасного? —Лена последний год видела столько горя и нищеты, столько уродливого и несправедливого, что это утверждение показалось ей слишком рискованным. —О, конечно, картины, дивные здания, сады, заход солнца, погружающий в золото Сан-Миннато, походящий тогда на волшебный замок. И музыка, и краски, и живые люди.

Лена нахмурилась. —А о тех бесчисленных людях, которые не могут иметь ничего из всех этих красот жизни, об обездоленных вы не думаете, графиня?

Джойя ответила не сразу. —Считаете вы меня злой? —промолвила она с детской серьезностью. —Это делает жизнь здесь еще более грустной. Как эти люди живут! Целые семьи теснятся в одной каморке и работают с шести часов утра до позднего вечера. А как помещики обращаются со своими людьми, прямо, как с рабами. Гейнц... —Она запнулась, густо покраснела и затем торопливо заговорила опять: —Я бы так хотела подружиться со всеми людьми в имении, помогать им, но они возмутительно недоверчиво ко мне относятся, и как-то чересчур почтительно, как к высшему существу. К тому же я плохо знаю немецкий язык, и мне вдвойне трудно уяснить им, что я их люблю и не потерплю никакой несправедливости по отношению к ним.

Лена слушала ее со снисходительным превосходством. Однако тон ее последних слов заставил ее прислушаться внимательнее... Она хотела что-то возразить, но в это время мужчины вернулись.

— У господина пастора образцовое пчеловодство, —милостиво сказал Гейнц. —Если бы наша дворня не была так ленива, можно было бы этим порядочные деньги заработать.

Лену злил этот высокомерный тон. Она хотела что-то возразить, но старый пастор как будто отгадал это. Он успокаивающе положил ей руку на плечо:

Так, Леихен, теперь идет награда добродетели.—Он порылся в кармане и вытащил коробку папирос.—Теперешние девушки курят.

Пожалуйста, дайте и мне,—попросила Джойя. Ее муж сделал сердитое лицо.

— Это у нас не принято, мое милое дитя,—сказал он сухо.

— Я думаю, это уж не такой большой грех, пустить немного дыму в воздух,—сказал пастор добродушно.

Джойя бросила ему благодарный взгляд и сказала со своей милой манерой запинаться:—Я вас хотела спросить что-то господин пастор. Мальчик нашего мельника болен; ему нужно лежать на солнце. Где бы здесь можно было достать хорошее мягкое кресло для лежания. Я безрезультатно искала во всех магазинах.

— Моя жена изображает из себя друга человечества,—насмешливо сказал Гейнц Штромвиц.—Но это у нас пройдет, когда она увидит, как неблагодарна эта сволочь. Их не нужно баловать, а то они становятся ужасно нахальны. Но моя жена не желает этого видеть. С каждым больным она так возится, как если бы это был кто-нибудь из нашего круга. Притом ведь совсем не мешает, чтобы от времени до времени такой грязный парнишка отправлялся к праотцам. Ведь у этих людей, как у кроликов, каждый год являются новые.

Лена больше не могла сдержаться.

— Будете ли вы так же говорить о своих собственных детях, граф Штромвиц?—спросила она дрожащим от гнева голосом.

Он с изумлением посмотрел на нее.

— Но ведь это совсем другое дело, фрейлен Зельдер.

Лена украдкой взглянула на Джойю. Молодая женщина вся побледнела, закусила нижнюю губу и бросила своему мужу полный ненависти взгляд.—Милое, доброе дитя не так уж укротимо,—подумала Лена злорадно.—Бравому Гейнцу не так-то с ней будет удобно.

Старый пастор успокоительно провел по узкой, белой руке молодой женщины:—Я достану вам кресло, графиня.

Джойя задержала добрую старую руку в своей руке:—Не говорите мне «графиня», милый господин пастор, и вы тоже, фрейлен Зельдер, зовите меня, просто Джойя. Вы оба первые настоящие люди, которых я здесь нашла.

Наступило неловкое молчание. Затем старик быстро заговорил о других безразличных вещах.

Когда подали экипаж, Джойя стала просить Лену часто бывать у нее.—Придите завтра же, к обеду, с тем, чтобы остаться на все послеобеденное время.

Когда они уехали, старый пастор со вздохом облегчения сел возле Лены.

— Эта женщина мне нравится,—сказала она.

Он утвердительно кивнул головой; его морщинистое доброе лицо стало грустным:—Бедное дитя! бедное дитя!

* * *

— Ты совсем сумасбродная, Джойя!—раздраженно сказал Гейнц Штромвиц своей жене, когда экипаж катился по шоссе.

— Ты совершенно забываешь, что это не люди нашего круга. Старый пастор очень хороший человек; господин Зельдер тоже очень почтенный господин, но ведь они все-таки бюргеры. Мы не можем с ними быть в интимных отношениях.

— Но мне они гораздо больше нравятся, чем твои родственники и друзья,—вызывающе ответила Джойя.

— Я не говорю, что ты с ними не должна быть любезной, но ты не должна представлять себе, что они принадлежат к нашему кругу,—сказал он более спокойно,—вы за-границей слишком легко относитесь к этому. У нас же, наоборот, умеют соблюдать должное расстояние.

Она не обратила внимания на его последние слова.—Не принадлежат к нашему кругу,—повторила она в раздумьи.—Но и я, Гейнц, не принадлежу к нему.

— Как моя жена, ты к нему принадлежишь. Кроме того, ты не должна быть слишком скромной. И твоя семья из хорошего, старого дворянства. Форроджиони получили дворянство уже в пятнадцатом веке, и вот еще что: эта Лена Зельдер будто бы вращается в Берлине в невозможной среде,—социалисты, жиды, анархисты и как они еще там называются. Мне совсем не желательно, чтобы ты прониклась ее идеями. Я знаю, что у некоторых людей даже нашего круга считается модой иметь либеральные воззрения. Но я лично в своем доме этого не выношу. В роду Штромвиц еще не было и не должно быть людей, которых можно было бы обвинить в либерализме.

Джойя молчала. Приехав домой, она зашла в свой маленький салон. На стене висел большой вид Флоренции. Глазами, полными тоски по родине, рассматривала она стройные башни, устремленные в солнечное небо, мягкие холмы, окружавшие, как рамой, город. Затем она бросила через окно враждебный взгляд на большую равнину. Да, она ненавидела эту страну, ее серую монотонность, и также людей, этих жестких, угловатых людей с их ограниченными идеями и глупым высокомерием.

— Я не ваша,—сказала она сквозь рыдания, пряча лицо в руки,—никогда не была и быть не хочу.

Она опустилась на софу и горько заплакала. Над ней, в темнеющей комнате, улыбалась вся в солнечном свете Флоренция, город цветов и света.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Запах сосны наполнял дом. В зале фрау Зельдер убирала елку, в то время, как Фридрих, растянувшись в качалке, рассказывал про свой гарнизон. Густав, Иоганн и Лена приехали накануне. Господин Зельдер настоял на том, чтобы на сей раз Рождество праздновалось семьей в полном сборе. Кроме Фридриха, который во всем сходился с отцом, дети явились неохотно. Лене, которая имела на сей раз особые основания оказать родителям немного нежности, стоило большого труда уговорить обоих молодых людей поехать с ней.

Теперь они сидели все трое в комнате Лены. Густав громко зевал.—Какое дьявольское учреждение, эти семейные празднества. Какая, собственно, радость родителям в том, что мы здесь будем скучать. Что ты сюда притащилась, Лена, это я еще понимаю. Ты хочешь отпраздновать в последний раз христианское Рождество.

Лена рассмеялась, но сейчас же стала серьезна.—Когда я подумаю о том, каким это горем будет для родителей, мне становится очень тяжело.

— Зачем же ты это делаешь? Неужели ты уж так страстно влюблена в Анатоля.

Она не отвечала, задумчиво глядя на снежные хлопья, пригоняемые ветром к окну. Страсть в ее романе как будто никакой роли не играла. Они так привыкли друг к другу, что иначе не могли представить жизнь. Все устроилось в высшей степени

просто и прозаично. Недели три тому назад она засиделась поздно у Анатоля, диктовавшего ей какую-то статью, которую она быстро писала на машинке. Когда она поднялась, чтобы уйти, он сказал с досадой:

— Как это скучно, что ты всегда должна уходить. Иногда мне ночью придет в голову что-нибудь важное, что нужно еще до утра написать, и тогда тебя нет, конечно.

— К сожалению, против этого ничего не поделаешь!

Он в раздумьи посмотрел на нее.

— Тебе ведь уж, собственно, двадцать один год.

— Да, с Пасхи. А что?

— Ты, значит, сама себе уж господин.

— О, да, слава-богу!

— Тогда я действительно не вижу причины, почему бы нам не пожениться.

Она с изумлением посмотрела на него.

— Жениться?

— Чему же ты так удивляешься? Мы так хорошо уживаемся; лучшего секретаря я себе представить не могу. Кроме того, ты ведь совсем недурненькая.

— Но...

— Решись, Лена,—настойчиво сказал он.—Уже действительно поздно.

— Ты мог бы по крайней мере сказать мне, что любишь меня, —с упреком сказала она.

— Прости, об этом я совершенно забыл, но ведь это само собой разумеется.—Он поцеловал ее в свежие, розовые губы, глаза его с ее лица перешли на рукопись.—Ты уж там опять ошиблась, на второй строчке.

Нет, он не был страстно влюбленным женихом, но все-таки при мысли о нем, Лене делалось легко и хорошо. Он был ее лучший друг и человек, перед непреклонной волей и поразительной работоспособностью которого она больше всего преклонялась. Так как они оба знали , что родители Лены никогда не дадут согласия на этот брак, они решили пожениться в январе и сообщить об этом семье Зельдер, как о совершившемся факте.

Иоганн и Густав узнали об этом уже на следующий день. Густав принял эту весть с обычным для него спокойствием.

— Тем лучше, теперь я опять сумею спокойно работать.

Голос Иоганна прервал мысли Лены.

— Теперь Савин уже в России.

— Да, жаль, что он уехал. Он мог с таким же успехом остаться в Берлине ..

— Он удрал от немецкой трезвости. Ему хотелось опять подышать революционной атмосферой.

— Будем надеяться, что он там не застрянет надолго.

Густав потянулся: — Ну, я иду спать, невыносимая скука!

Вся семья собралась у елки; даже Ильза с мужем и двумя детьми приехала к празднику. Лена была молчалива и грустна, Густав с трудом скрывал свою скуку, господин Зельдер оглядывался в кругу своих с гордой растроганностью.

— Вот наш святой праздник и об'единение всех. Как прекрасна мысль, что в этот вечер во всем нашем отечестве горит везде елка, и все сердца об'единены мыслью о Спасителе.

— Есть и несколько сот тысяч жителей, которые в Христа не веруют,—сказал Густав.

Учитель гимназии бросил на него строгий взгляд:—Я говорю только о наших единоверцах, других не считаю.

Фридрих подошел к Лене:—Мама рассказала мне, что ты очень дружна с молодой графиней Штромвиц. Ты можешь меня взять с собой, когда пойдешь туда? Я ведь знаю ее мужа?

— Джойя неохотно знакомится с чужими людьми.

— Джойя? Ты зовешь ее Джойя? Вы так интимны? Ты, оказывается умнее, чем я предполагал, умеешь завязывать хорошие знакомства. Может быть, они тебя и в Берлине пригласят. Они там ведут дом на очень широкую ногу. Даже кронпринц бывает у них.

Ильза вполголоса жаловалась матери.—У Адольфа столько неприятностей с его подчиненными. Эти люди становятся с каждым днем все нахальнее. Это ужасно расстраивает его. И как раз теперь, когда я в положении.

Иоганн забился в уголок и наблюдал семейную идиллию. Как чужды друг другу были эти люди, как мало понимали они друг друга! Он вспоминал многие рождественские вечера, проведенные им в этом доме. Всегда было то же самое: принужденно-праздничное настроение. Старая детская грусть овладела им. Так он в детстве забивался в уголок, чужой между чужими. Там, в жизни, где кипела работа, он не знал этого чувства, там нашел он свое место, нашел людей, среди которых он был свой.

Мужчины собрались отдельно, Ильза и мать играли с детьми. Лена незаметно выскользнула из комнаты. Отдельные слова долетали до Иоганна. Он слышал резкий голос Фридриха:—Дисциплина... Порядок... Проклятая красная бомба...—И хриплый голос Адольфа: —Надо действовать машинами...

— Наш кайзер уж с ними справится,—это учитель гимназии.

— Да, мама, маленькая Анни уж недурно поет. Я научила ее петь рождественский псалом, хочешь спеть его бабушке, голубчик?

Фридрих все больше горячился:

— Этот проклятый гнилой мир. Он разоряет Германию. А другие нации становятся все заносчивее. Нам необходима хорошая война, тогда...

Маленькая Анни встала, сложила ручки и запела тоненьким детским голоском:—Слава Господу на небе и мир на земле и во человецех благоволение.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

Когда горный поток приближается к обрыву, с которого он свергается шумным водопадом в грозную глубь, маленькие волны спешат, перегоняя друг друга, вперед, скользя через камни и глыбы, чтобы ринуться в чуждую, неприютную бездну, как если бы разрушение звало их манящим голосом, обещая обманное счастие, украшая бедствия и смерть сладкими словами. И маленькие волны спешат, перегоняясь, не чуя опасности, подбодряя друг друга к быстрейшему бегу, и свергаются вниз, не отдав себе в этом отчета.

Так бегут годы, укутанные неведомым ужасом, тайно подкарауливающим их во тьме. По временам молния прорезывает тучи, освещая близость бездны, и тогда более мудрые предостерегают: «Мы идем к гибели!». Но большинство смеется над ними, над галлюцинациями и привидениями, среди бела дня преследующими их.

Борис Израилев принадлежал к этим осмеиваемым пророкам.—Но видите ли вы, что мы с каждым днем больше приближаемся к катастрофе?—говорил он друзьям.—Неужели вы думаете, что вооружение народов, травля, поднятая прессой ничего не значат, являются какой то незначащей игрой? Работайте, работайте, агитируйте массы, вырывайте с корнем ядови-

тое растение, называемое патриотизмом. Разве вы не замечаете, как оно повсюду разрастается и своим удушливым запахом затуманивает и усыпляет мозги людей?

И Савин писал из России в том же духе: «Готовится преступление, самое ужасное в человеческой истории. Наше правительство чувствует близость революции и старается всеми средствами отвлечь народ от нее. Мы делаем все, что можем. Работайте и вы. Каждый час неизмеримо важен.

Друзья смеялись: «Вы, русские, сумасшедшие. Никогда еще идея интернационализма не была так устойчива. Неужели вы допускаете возможность войны рабочих одной страны против рабочих другой. Если это понадобится, в течение нескольких часов вспыхнет всеобщая забастовка во всех странах, тогда пусть правительства дерутся между собой, рабочие с места не сдвинутся.

Больше всего развивал эти идеи Филипп Шерман, когда разговор об этом поднимался в их тесном кругу, он говорил: — Вы не знаете немецкого рабочего, вы не подозреваете, какой культурной высоты он достиг. Он не пойдет на удочку военных лозунгов, как это возможно на востоке или в романских странах. Кроме того, вы недооцениваете наших вождей; ни один из них не будет голосовать за военные кредиты.

Кернер качал своей седой головой.

В вождях я далеко не уверен. Вот уже некоторое время, как сквозь их речи проходит какой-то «немецкий» дух. На рабочих же положиться можно. Классовые противоречия особенно обострились в эти последние годы. Пролетариат никогда не пойдет биться за господ. Он пойдет в один лишь бой,—свой собственный.

Так прошло лето, знойное и благоуханное. Пропла и зима с трескучими морозами; со стремительной быстротой вертелось навстречу гибели колесо времени.

Маленький круг друзей мало изменился. Лена и Анатоль поженились, и маленький, черноглазый мальчуган с шумом возился в их скромной квартирке. Иоганн окончил медицинский факультет и занялся практикой, которая материально мало его обеспечивала, так как пациенты были почти исключительно бедные. Густав создал себе имя в ученых кругах. Он был все тем же книжным червем и, как прежде, не выходил из своей одинокой комнаты. Фридрих окончательно порвал с сестрой после ее

замужества; его возмущение не знало границ, и все его старания были направлены на то, чтобы скрыть от своих товарищей по полку, что его сестру зовут фрау Зильберблят. Он же не переставал все сызнова возбуждать гнев родителей против блудной дочери и добился того, что родительский дом был для нее совершенно закрыт. Учитель гимназии не нуждался для этого в сильном воздействии, а фрау Зельдер совершенно подчинилась его воле, как она это делала всю жизнь. Однако в каждом ее письме к Густаву неизменно повторялся в виде post scriptum'а вопрос:—Как поживает Лена?

Уже с полгода, как их тесный круг увеличился еще одним членом. В один декабрьский вечер в квартире Лены раздался звонок, и когда она открыла, на пороге стояла Джойя Штромвиц.

— Могу я у вас остаться?

— Конечно, но...

Джойя крепко сжала руку Лены.

— Не расспрашивай много, я смертельно устала. Впусти меня. Мы расходимся.

— Наконец-то!—несколько бестактно вырвалось у Лены. Она увлекла за собой приятельницу в столовую. Понемногу она узнала всю историю.

— Я не могла этого выносить больше,—рассказывала сильно осунувшаяся и побледневшая женщина,—я не могла больше видеть, как Гейнц обращается со своими людьми. Можешь ты себе представить, он бьет их палкой. А когда я попробовала заступиться, он закричал: «Это мой дом. Здесь все делается так, как я хочу». А кроме того, затаенные и открытые упреки семьи, что у меня еще нет сына. «Такие прекрасные владения! К кому же они перейдут?»

— Бедненькая!

— Я сжимала зубы, стараясь уговорить себя, что это мой долг—остаться у Гейнца. Но тут случилось нечто такое, что я совсем не могла перенести. У старшего из наших рабочих была славная молодая жена, милое, нежное создание. Она оба так были счастливы, а когда она стала готовиться быть матерью, она ходила с каким-то просветленным лицом. Однажды вечером была ужасная погода—дождь и буря; рабочий пришел к моему мужу и просил его послать за врачем, потому что у его жены начались роды. «В такую погоду запрягать моих лошадей и

гнать их два часа!—закричал Гейнц.—Вы с'ума сошли?» Рабочий остался внешне спокоен, хотя и видно было, как он мучается беспокойством за жену. «Она очень слабая женщина,—сказал он,—я очень прошу милостивого господина. Графиня, вы всегда были так добры к нам. Помогите нам теперь». Тогда мы оба, он со слезами на глазах, я, дрожа от подавляемого негодования, стали просить Гейнца. Он пришел в ярость.—«Ваши жены рожают легко, как собаки. Сегодня ни одна лошадь не выйдет из конюшни!» Он позвонил и велел сказать кучеру, чтобы он не дал запречь ни одной лошади. Лена, лицо этого рабочего! Эта беспомощная ярость, это отчаяние! Я пошла с ним к его жене. Это была страшная ночь! К утру она родила мертвого ребенка, а часом позже она сама умерла. Муж как бы окаменел, не проронил ни слова. Лишь раз, проходя мимо меня, — я плакала в углу комнаты, —он погладил меня по руке и сказал: «Не плачьте, вы сделали все, что могли, а для моей жены лучше было умереть. Господин бы нас все равно прогнал, а где бы мы теперь нашли работу? Помещики не берут теперь семейных рабочих с маленькими детьми, потому что жена не может идти на работу».

К полудню Гейнц пришел за мною. Комната полна была народа, женщины пришли попрощаться с умершей. Я была, как помешанная. Когда Гейнц вошел, я указала ему на кровать и закричала ему: «Убийца». А когда он властно заговорил со мной, я потеряла всякое самообладание. «Ты хочешь сына от меня, преступник!—закричала я.—Ты не коснешься меня больше. Я тебя привлеку к суду, убийца! Убийца!»

Люди окружили нас. «Идем домой, Джойя»—убеждал он меня испуганно.

«Я не войду больше в твой дом!» Я обратилась к людям:—«Не давайте ему дотронуться до меня».

«Марш работать, сволочь, или вы все будете прогнаны!»—зарычал Гейнц. И люди выскользнули один за другим до последних двух старух.

— Я уже не вернулась в замок. Мать мельника дала мне приют. Теперь бракоразводный процесс начат. Мои родители негодуют на меня и не хотят меня больше знать. Тут я о тебе подумала, Лена. Вы же боретесь против зла, против преступлений, примите меня! Я должна отомстить за умершую женщину и за другие бесчисленные жертвы.

Когда Лена рассказывала своим друзьям про Джойю, Борис Израилев кивал удовлетворенно:—Из этого теста лепят фанатиков. Пусть она останется у нас. Я буду следить за тем, чтобы она не делала никаких ненужных сумасбродств.

Джойя легко приспособилась к кружку. Она была готова ко всякой работе, и Анатоль, особенно умевший использовывать все способности людей, вскоре открыл в молодой женщине ораторское дарование. Пылающий гнев ее речи захватывал самых равнодушных слушателей, в коротких фразах она набрасывала картину за картиной, рисовала несправедливость за несправедливостью, пока перед всеми глазами не восставала жуткая картина порабощения, несправедливости и человеческих страданий, режущая глаза, прожигающая мозги.

— Олицетворенная революция!—сказал молодой художник, приставший тоже к кружку.—Так надо рисовать ее. С этими отливающими золотом волосами, развевающимися, как пламя. Все в ней жизнь, движение, рвущаяся ненависть.

Весь кружок полюбил ее и радовался ее жизненной силе, ее пылу. Что касается Иоганна, то для него она явилась каким-то откровением. Ее светлая жизнерадостность была для него согревающим пламенем. Всякое уныние, всякие колебания и слабость проходили в ее близости. Тяжелое детство, чувство одиночества, которое еще и теперь по временам его охватывало, исчезали из его души, яркий, сверкающий свет открывался перед ним. У него было такое чувство, как если бы он, наконец, после долгих, бесплодных исканий нашел заветную, солнечную, блаженную, родную страну.

— Она как раз то, что требуется нашему мечтателю,—радостно говорила Лена своему мужу,—она его встряхнет.

— Он смотрит на нее такими же сияющими глазами, как ребенок на сверкающую огнями елку,—смеялся Анатоль.

Но Иоганн, тихий и замкнутый, не решался заговорить, пока однажды вечером, после собрания, они вместе не возвращались домой. Перед квартирой Лены они остановились, чтобы проститься. Прилив всепобеждающей страсти к этой женщине внезапно охватил его. Ему казалось, что он умрет, если в этот момент расстанется с ней. Он крепко сжал ее руку, задерживая ее в своей.

— Джойя, не уходи к другим, иди со мной, ты моя!—неожиданно вырвалось у него.

Она не отвечала. Тогда вся тоска безродного, все стремления и искания одинокого излились в потоке пылких, бессвязных слов. Наивные, почти детские излияния любви, страсти. И еще раз, как бы подкрепляя их, настойчивое:—Ты моя!

Ты теперь лишь узнал это?- тихо спросила она. Не только слова, но и тон их были желанным ответом.

В темноте он обвил ее руками и увлек за собой в свою маленькую комнатку. Душистые лилии извне наполняли ароматом его уголок. Тихий ветерок шевелил занавеску на окне.

* * *

В Сараеве был убит австрийский наследник престола.

— Какое нам до этого дело? Одним Габсбургом меньше,— спокойно заметил Филипп Шерман. Но Анатоль был другого мнения:—Это удобный предлог для милитаристов.

— У нас они слишком слабы, чтобы вызвать катастрофу, — убежденно утверждал Шерман.—Они кричат, бряцают саблями, но ничего не дерзнут сделать, потому что они знают хорошо, что в случае об'явления войны весь народ будет против них.

А в других странах?—озабоченно вставила Лена.

Англия слишком разумна, чтобы не быть против войны,— отозвалась фрау фон-Рейтер, сидевшая у окна с маленьким Эммануилом на руках. Она великолепно знает, с какими колоссальными материальными убытками это для нее связано.

— А во Франции социалисты слишком сильны, кроме того, у них есть человек, умеющий держать в руках массы.

— Жорес всеми силами воспрепятствует войне.

Старый Абрам Леви забился в уголок. Глубокая грусть овладела им после сараевского убийства. Он все время молчал, казалось, не слышал обращенных к нему слов, уставившись неподвижно вдаль, как бы видя там что-то страшное.

Прекрасный летний день яркими солнечными лучами заливал Берлин. Лена накрывала на стол, жалуясь на неаккуратность Анатоля. Борис Израилев, которого солнышко выманило из дома, стоял у окна. Абрам Леви тоже пришел к обеду.

— Мне кажется, продаются какие-то листки на улице, — сказал Борис.—Люди толпятся. Я сойду посмотреть, в чем дело.

— Нет, Борис, не ходите по лестницам. Сейчас придет Анатоль, и мы все узнаем.

— Зло готовится,—пробормотал в своем углу Абрам Леви.

Дверь с шумом распахнулась. Анатоль ворвался, запыхавшийся и весь бледный:

— Жорес убит!

— Жорес?

Стакан вылетел из рук Лены.—Невозможно! Когда?.. Кто это сделал?

Вопросы посыпались со всех сторон. Потом все замолкли. Гнетущий страх, злые предвидения охватили всех. И внезапно старик в углу возвысил свой голос, звучавший возмущением и отчаянием:

— Горе! Разрозненные факелы освещают ночную тьму, колеблются на ветре. Вихрь задул большой, светлый, а другие трепещут и горят все слабее и темнее.

— Горе! И они потухнут. Ночь ворвется и прогонит свет. Ночь царит повсюду, и из тьмы вопли вздымаются к небу!

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.

Большой яркий факел, освещавший Францию, был потушен. Остальные трепетали в мощном вихре, дрожали, горя все слабее и слабее и, наконец, тухли. Ночь безумия ширилась над землей, проникала в мозг и душу. Едкий яд лживых речей и печати отравлял мозги. Люди превратились в стадо, в бессильно-перепуганное стадо, которому крик ужаса пастуха возвещает приближение волка. Необдуманно они мчатся вперед, топча ногами все и всех, препятствующих безумному бегу. Никто не вырывался из стада, никто не открывал правду одураченным. Действительно ли не возвышается ни один голос или терялись они в реве массы? Где были вожди? Где мужи, дух которых управлял массами десятки лет? Укрылись ли они трусливо от вихря, или и их мозги были ослеплены, как мозги самых бессознательных из их последователей?

Из накопленных страстей, из низкой зависти, из честолюбия и жадности, из трусости и легковерия люди собственными руками созидали Молоха, чудовище с тысячью щупальцами и ненасытной жадностью, кровавый призрак, дышащий смертью и разрушением. Они возвысили его, молились ему с самоистязующим неистовством и назвали его: отечество.

Отечество! Никогда больше после этих жутких лет ни один мыслящий человек не сумеет без содрогания произносить это слово. Две священные вещи, соединенные вместе, образовали демона, уничтожающего человечество: отец-хранитель, заботливый покровитель своих; земля: плодотворная, щедрая почва, золотистые поля, плодородие, благодать[1]).

Один факел потухал за другим; да горели ли они когда либо? Во всех парламентах представители народа голосовали за военные кредиты. Лишь в Сербии два человека имели мужество голосовать против них, да еще в Германии один во время голосования покинул зал. Один единственный!

Где были вожди? Слепые и предатели взывали к народу, слепые и предатели ради собственных выгод теснились у трона. Типографские чернила вливали яд в толпу.

– Всеобщая забастовка? Пусть начинают другие, и мы последуем их примеру,—так говорилось в каждой стране.—Мы не должны оставлять нашу страну на произвол судьбы.

Как внезапно у них всех появилась родина, у этих людей, которые называли родиной весь мир и смеялись над пограничными столбами. Как внезапно у них появился свой народ, у тех, которые раньше знали один лишь Интернационал. Люди, не признававшие никакой борьбы, кроме борьбы классов, заговорили звучными словами на площадях и трибунах о «нашей» войне, призывали порабощенных и угнетенных на бой против своих братьев рука об руку со своими угнетателями.

— Бог вдунул безумие миру, и никто не может от него оборониться,—вздыхал Абрам Леви, когда однажды вечером, после об'явления войны Англией, друзья собрались у Лены.

— На нас сделано нападение. Мы принуждены защищаться!—воскликнул Филипп Шерман.

— На нас не нападали,—твердо сказал Иоганн, а Джойя воскликнула запальчиво:—Эту ложь несете вы в народ, чтобы поднять его на войну.

— Должны мы свою страну дать врагу на опустошение?—возмущенно протестовал Филипп.

- Что такое страна, когда дело идет о людях?—кроткий, старый голос госпожи фон-Рейтер дрожал.—Я не могу выйти на улицу и видеть этих марширующих молодых, сильных лю-

[1]) По-немецки отечество—Faterland, в дословном переводе земля отца. Прим. пер.

дей. Румяные, крепкие, распевающие песни, они в то же время лишь призраки, мертвецы, чувствующие себя еще живыми. У меня такое чувство, что я должна во что бы то ни стало остановить эти поезда, уносящие людей, здоровых, полных жизни людей на смерть.

— И никто ничего не делает, никто,—мрачно сказал Анатоль.—Одни потеряли голову, другие, как мы, сидят дома и возмущаются.

— Германия не виновата в войне. Враги нам ее навязали!—

— Враги? Филипп, кто эти враги? Несчастные пролетарские массы, сгоняемые изо всех стран на фронт, или правительства своих же стран?

— Он говорит уже совершенно патриотическом стилем,—с'язвил Анатоль.—Враги!.. ты быстро нашел свое место, милый Филипп.

— Теперь неуместны эти глупые выходки.—Свежее лицо Филиппа побагровело. -Теперь, когда отечество в опасности, прошло время мелочных дрязг. Это видят и наши вожди и остановили борьбу против правительства на время продолжения войны. Мы не имеем возможности действовать иначе, но социалисты других стран, которые легко могли это сделать, стали изменниками Интернационалу.

— Интернационал!—в раздумьи сказала Лена.—Не звучит ли это слово насмешкой! Мы были уверены, что строим нерушимое здание, а оно разлетелось при первом порыве вихря.

Анатоль вскочил.—Мне надоело это бесполезное нытье. Иоганн, Джойя...—Он отвел обоих в угол и с жаром заговорил с ними о чем-то.

— Я забрала Бориса Израилева к себе,—сказала г-жа фон-Рейтер,—как русский и как революционер, он может ожидать всевозможных неприятностей. Я его укрою от них своим именем.

— Я надеюсь, что вы, однако, будете следить за тем, чтобы он не вел никакой пропаганды против войны. В настоящий момент...

— Если вы хотите принять меры против антимилитаристской пропаганды, милый Филипп,—прервала его старуха со спокойной улыбкой,—то вы должны начать с меня. Я не скрываю, что при всякой возможности говорю против войны и что всегда это делать буду.

Филипп Шерман был несколько смущен.—Вы не можете хорошо понять моей точки зрения. Вы, как англичанка...

Это вы не можете понять, Филипп. Я так же точно поступала бы и у себя на родине. Но вы, кажется, забыли все, что люди бывают не только немцами или англичанами, австрийцами или русскими, но и прежде всего людьми вообще. И как таковые, они должны быть интернационалисты, думается мне.

Джойя и Иоганн стали собираться уходить. Другие последовали за ними. Анатоль сел на диванчик возле жены.

Лена, старушка подала мне идею. К войскам мы не можем добраться. Не попробовать ли нам на железнодорожников действовать.

Она одобрительно кивнула. —Ты хочешь пойти к ним?

— Да, сейчас же. Сегодня еще отходит большой транспорт войск с Фридрихсбангофа. Мне сказал Кернер. Один из его друзей там служит.

Я пойду с тобой.

— Нет, Лена, это опасно. Ты не должна рисковать из-за ребенка.

Она обвила его руками.—А ты? а ты?

— Леночка, мой лучший, дорогой товарищ, не удерживай меня.

Она побледнела.—Нет, этого я не делаю.—И прибавила тише, дрожащим голосом:—Ты знаешь, Анатоль, как счастлива я была все эти годы с тобой.

Он крепко прижал ее к себе.

— Что они тебе сделают, если задержут?

— Не знаю, —сказал он поднимаясь.

— Будь только осторожен.

Да, Лена. Если бы я не вернулся, ты будешь продолжать нашу общую работу.

— Да.

Он вышел. Она долго смотрела в окно вслед быстро удалявшейся фигуре, пока он совсем не скрылся из глаз.

На вокзале была дикая давка. Голоса заглушали друг друга. Топот бесчисленных ног глухо отдавался под сводами. Пыхтящие паровозы выбрасывали черные клубы дыма. Часовые мерно шагали взад и вперед, со скучающими неподвижными лицами глядя на сумятицу.

Внезапно все как бы приостановилось, затем поток людей устремился в одно место где, на навалленных высокой грудой

ящиках поднялась фигура человека. Бледное лицо возвышалось над бесчисленными головами, теснящимися вокруг него. Громко, дикой, яростной силой зазвучал его голос.

— Что делаете вы все? Вы работаете! Знаете ли вы, что значит ваша работа? Смерть называется она, смерть вашим братьям. Без этой работы поезда не пойдут. Ваша работа уносит людей на смерть. Это все равно, как если бы вы каждого из них в отдельности потащили к гибели.

— Остановите работу! Как часто останавливали вы ее, когда дело шло о незначительном повышении заработной платы. Теперь же, когда дело идет о бесчисленных человеческих жизнях, вы усердствуете для угнетателей. Как часто в ваших собраниях раздавались слова: «Мы не хотим больше работать для господ»! Теперь вы для них убиваете. Рабочие, ни один поезд не уйдет без вашей воли! Дайте пример другим! Когда об этом узнают наши братья в других странах, те самые, которых вы теперь в своем безумии называете врагами, и они...

Сильные руки сзади стащили его с возвышения. Четыре солдата накинулись на него. Он оборонялся изо всех сил. Дикая ругань полилась на него:—Изменник! шпион! жид! бей его!

Дежурный офицер выступил вперед:

— Вяжите его!

Его увели.

Работа вновь закипела. Шум и грохот, торопливые шаги, крики, пронзительные свистки вновь заполнили вокзал.

Ночью пыхтящие паровозы увозили переполненные вагоны на восток.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ.

Густав мягко, но энергично оттолкнул маленького Эммануэля, который с надоедливой нежностью все цеплялся за его колени, и посмотрел на свою сестру.

— Ты должна радоваться, что дело твоего мужа так благополучно окончилось. Шесть лет тюрьмы еще очень мягкое наказание. И кому ты этим обязана?

— Густав, милый, я знаю, что ты для нас сделал.

Он прервал нетерпеливо:—Да разве я говорю о себе, хотя и мои друзья приняли в этом горячее участие. Главная заслуга

принадлежит, однако, Фридриху. Если бы он неделю после этого не отличился на фронте...

— Как шурин «героя», Анатоль еще дешево отделался. Я бы только хотел знать, что собственно его толкнуло на это безумие.

— Он должен был, Густав, он не мог иначе.

— Удивительно. Что мне в нем нравится, это то, что он, этот импульсивный человек, может так совершенно не поддаваться массовому внушению. Но ведь ему незачем было это выкрикивать перед всеми.

— Не скрывать же нам своих убеждений.

— Не становись сейчас же на котурны. Впрочем, скажи мне, что такое убеждения? Пять месяцев тому назад мы все утверждали, что убить человека преступление, а теперь, когда у кого-нибудь достаточное количество убийств на совести, он получает за это железный крест.

— А ты это одобряешь?.

— Нет. Мне вся эта история представляется массовой растратой ценностей. Я очень рад, что моя близорукость избавила меня от военной службы. У меня нет охоты ни себя самого давать убивать из неизвестных мне побуждений, ни убивать других людей, которые никогда мне ничего дурного не сделали. Но это еще недостаточный повод для того, чтобы кричать об этом на улице и рисковать виселицей. Если люди так глупы, что позволяют с собой обращаться, как со скотом, который ведут на убой, то так им и надо. Впрочем,—прибавил он, становясь серьезным,—я питаю известное уважение к Анатолю и ко всем вам, остальным дурачкам. Вы, по крайней мере, последовательны, не так, как этот невыносимый блондин, которого я часто у вас встречал и который не в состоянии сказать пяти слов, не прибавляя к этому: «я—социал-демократ», и такой человек идет и записывается в добровольцы. Как его зовут?

— Филипп Шерман.

— Надо надеяться, что его скоро убьют. Терпеть не могу патриотических социалистов, как и чистых патриотов. Мне кажется, мне все люди вообще противны стали. Куда ни придешь: Слышали уже? Новая победа! Пленные! Неприятель потерпел тяжелое поражение! Какое мне дело до всей этой войны! Я хочу работать спокойно.

— И ты не сумеешь остаться равнодушным. Теперь приходится пристать к той или к другой партии.

— Не изображай из себя ясновидицы. Это ты переняла у старого раввина, который вечно торчит у вас. Впрочем, и мать мне пишет приблизительно то же. Я принес тебе ее письмо,— это документ нашей эпохи. Вот оно, читай!

Лена прочла:

«Милый Густав!

Ты наверное знаешь уже, что наш милый Фридрих получил отличие—железный крест. Отец и я очень гордимся этим и благодарим бога, что он дал нам такого храброго, благородного сына, и что мы можем подарить его отечеству.

Твое последнее письмо очень огорчило твоего отца; он не может понять, как ты можешь так замыкать свое сердце в такое время. И я тебя не понимаю. Неужели ты в родительском доме не проникся любовью к родине и к нашему милостивому кайзеру. Неужели тебе не дорог твой народ? Отец очень огорчен тем, что ты оказался негодным для военной службы. Он был бы счастлив отдать родине обоих сыновей.

Только что он принес мне радостную весть, что на востоке одержана большая победа, и неприятель потерял около двадцати тысяч человек. Бог и впредь нам будет помогать»...

Лена раздраженно бросила письмо на стол.—Не могу читать дальше, противно!

Густав рассмеялся.—Наша добрая, кроткая мать! Радостная весть, что двадцать тысяч человек убиты. Это, впрочем, я могу еще понять. Она ограничена и лишена воображения, как все женщины. Она даже не постигает, что враги тоже люди. Но как она пишет о Фридрихе, своем любимчике! Горда его отличием, счастлива, что может принести его в дар отечеству! Мне всегда казалось, что женщина будет кричать: «Отдайте мне назад моего сына! По какому праву подвергаете вы его жизнь опасности? Какое мне дело до вашего проклятого отечества. Верните мне мое дитя»!

— Бесчисленные женщины так именно и думают,—грустно возразила Лена.

— Почему же они не кричат об этом? Почему они ничего не делают? Вы ни к чему не пригодны, вы, женщины!

- Потому что мы трусливы. Но дай только горю и отчаянию пересилить эту трусость, и ты увидишь, на что мы способны.

Неустанно лил холодный, мелкий дождь. Фонари отсвечивали на мокром асфальте, туман окутывал все, несколько за-

глушая шум колес и свистки автомобилей. Джойя спешила домой, крепко сжав руки в своей муфте. В комнате она застала Иоганна, неподвижно сидевшего в глубоком кресле.

Ты опять все время с места не двинулся, Иоганн?

Зачем?

У меня хорошие новости.

Нет хороших новостей.

Она сняла шляпу и села на ручку его кресла.

Иоганн, нет никакого смысла здесь сидеть и отчаиваться.

А что мне делать?

Работать! Наших так мало, каждый человек важен. Почему ты не пришел к фрау фон-Рейтер?

— Чтобы слушать, как три-четыре человека, собравшись в салоне, украдкой шепчут слово «революция», когда перед окнами толпа рычит: «Победа»!

Сегодня было не три или четыре человека. Нам казалось, что все вожди исчезли. Есть еще вожди!

Он болезненно улыбнулся: — Возможно еще, что нашелся один или другой. Но что могут сделать вожди без массы? А народ настроен так, как этого хотят правительственные газеты.

— Потому, что мы даем этим газетам свободно действовать.

Он вздохнул:—Ты ребенок, Джойя! Неисправимая оптимистка. Все разрушено, сломано, а ты выхватываешь из развалин незначительный камень и, радостно сияя, восклицаешь: Из этого камня я воздвигну все здание!

— Сегодня прибавился новый камень, нет, целых два. Да не смотри ты на меня с таким отчаянием! А то ты и у меня отнимаешь всякое мужество.

Он нежно погладил ее огненно-рыжие волосы, влажные пряди которых небрежно выбивались.

— Не будь нетерпеливой, Джойя! Ты должна понять мое настроение. Все, во что верили годами, рухнуло в одну неделю! Из этого разрушения ничего уж нельзя отстроить. А люди! Я прохожу по давно знакомым улицам, как по чужому городу. Незнакомый язык звучит вокруг. Я встречаю друзей, рад их видеть и после первых же слов замечаю, что они мне чужие.

Она озабоченно смотрела на него: — Ты не должен так опускаться.

Он продолжал, не обратив внимания на ее замечание и как бы говоря сам с собой:

— Я чувствую себя теперь, как в детские годы; какие-то старые неясные воспоминания пробуждаются во мне. Я вижу большой город, слышу дикие крики. Приходят люди с дубинами, нападают на других людей. Откуда эта картина? Я ничего подобного не припоминаю. А затем еще картина, которая меня преследует даже во сне: на высоком холме разрушенное здание. Кругом плач и стенания, и я ясно чувствую, что вместе с этим зданием разрушены все надежды людей.

— Мы его вновь отстроим!—с жаром воскликнула она.— Строители уж на работе у нас и в других странах.

Он сокрушенно покачал головой.—Я их не вижу.

Затем после некоторой паузы:

— Ты мне хотела что-то сказать.

Да, пришло письмо от Савина.

— Из России? Как это возможно?

— Мы сами не знаем. Сегодня утром Борис нашел в своей двери грязный пакетик без надписи. В нем лежала записка, почерк Савина, всего несколько слов: «Не теряйте мужества, великие события готовятся. Несмотря на все, мы работаем вместе. Привет товарищам». Видишь, у нас есть друзья, Иоганн!

— Я всего этого не понимаю. Не ловушка ли это? Будьте осторожны. А твоя вторая новость?

Она нагнулась к нему и заговорила вполголоса:

— Знаешь, кто был сегодня у нас на собрании, чтобы организовать работу?

— Ну?

— Я не хочу называть имен, у стен есть уши. К нам вернулся наш вождь, человек, которому мы больше всего доверяли и в котором были так горько разочарованы.

Иоганн вскочил.—Джойя! Возможно ли? Он одумался! Он вернулся к нам!

— Да, он втихомолку собирает товарищей, никто не должен знать об этом. Ну, что, ты все еще отчаиваешься?

Он весь преобразился. Румянец залил его бледные щеки, огонь вспыхнул в усталых глазах. Он не находил слов.

— Он, этот человек! Олицетворение всего лучшего в Германии! Если существует человек, который может излечить

массы от их безумия, это он! Джойя! Неужели он опять с нами? Он остался верен нашему делу!

— Теперь ты веришь, что все пойдет хорошо? Мы здесь, наши друзья в других странах, мы друг друга не видим, не слышим, но мы знаем, что каждый приносит свой камень к общему зданию. Каждый помогает строить храм свободы, пока он не возвысится над слезами и кровью опозоренного человечества.

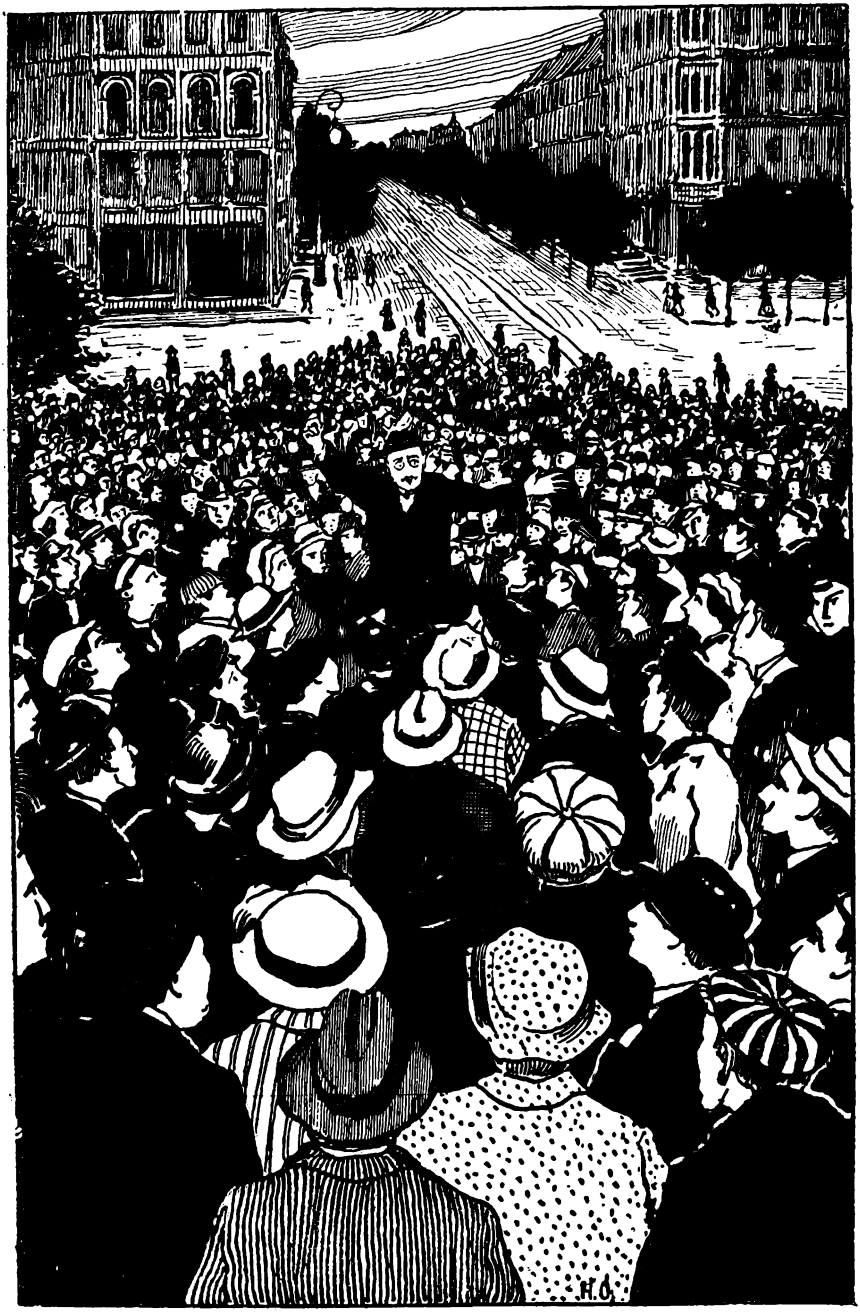
* * *

Как свинцовая тяжесть медленно тянулось время. За мрачными зимними днями потянулась безрадостная весна. Зачем сияет солнце? Зачем деревья наряжаются свежей зеленью? Там, на фронте люди гибнут в отчаянии и муках. Здесь, в каждом углу траур по погибшим окутывает все черным покрывалом. Неужели нет конца этому? Победа или поражение, лишь бы конец этому ужасу! Неужели народы все еще не двинулись? Тупо тянутся они на фронт, тупо возвращаются оттуда раненые и калеки. И все еще правительства заглушают сознание своих верноподданных словом «отечество» и заглушают плач отчаявшихся патриотическими фанфарами.

Пепел серой тупой безнадежности покрывает страны. Никогда не прорваться из-под него освобождающему пламени!

И все-таки! Не вспыхивает ли там и сям как бы скрытая искра? Не освещает ли по временам тьму красный отблеск?

В толпе опьяненных победой людей, среди угнетенных тяжестью поражений народов, появляются люди, говорящие на другом языке, языке, который был так понятен многим до войны. К нему прислушиваются то один, то другой; боязливо, тихо, как во сне повторяют они запавшие в душу слова. Мертвое оживает вновь. Окаменелое приходит в движение. На всех языках начинают звучать эти слова. Пока это еще шопот, но день за днем новые голоса присоединяются к этому хору. Виновные, укрытые в верных местах, палачи, без раскаяния посылающие на смерть свои народы, глухи к этому ропоту подземелья. Они упиваются лишь звуками своих боевых лозунгов. А хор все разрастается. Наступает день, когда звуки его заглушают канонаду и крики «ура!», когда из окопов и госпиталей, из нищенских



Он говорит им..: Долой войну! Долой правительство!

каморок и тюрем тот возглас, как молния, прорвется к небесам: «Мир, свобода, революция!

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.

В угасающих лучах, в мягких синеватых тенях переходит первый майский день в сумерки. Зажженные фонари борются еще с дневным светом, мерцая тускло и таинственно.

На улицах оживленное движение. Люди спешат, толкаются, теснятся в одном направлении, как если бы они были туда притягиваемы магнитом. На Потсдамской площади толпится народ; суровые лица рабочих, бледные, измученные женщины, самодовольно-откормленные, любопытно глазеющие бюргеры, полицейские с вызывающими лицами, все это стремится и движется одно за другим. По временам свист прорезывает воздух, доносится громкий возглас, тихий, заглушенный рокот омывает площадь, как волны бьют о скалистые рифы.

Еще и еще приходят люди, все больше и больше. Странно изменившимися кажутся лица, притупленные двумя годами животной тупой покорности. В безутешных глазах внезапно прорывается лучь надежды, полуоткрытые уста как будто тянутся к освежающему напитку, расслабленные мускулы напрягаются, воодушевленные новыми чаяниями.

Люди все прибывают, тесно скучиваются на почерневшей от множества голов площади, и все еще прибывают, прибывают...

Один их созвал, один, кому они доверяют, друг угнетенных и порабощенных, человек, из тины трусости, в которой погрязли его бывшие товарищи, восставший против господ и угнетателей.

Он говорит им. Молниеносны его короткие резкие слова, освещающие жуткую тьму, творчество—его речь; из запуганных стадных животных она создает людей, разрывает цепи, вновь связывает порванную нить между народами. Из уст в уста передаются его слова, падают непотухающие искры на воспламеняющуюся почву. Трепещущий страх бюргеров толкает вперед полицейских: «Не давайте говорить этому человеку; его слова для нас гибель. Горе нам, если народ узнает всю правду. Уберите этого человека с нашего пути!»

Полицейские протискиваются через толпу. Но человек возвышает голос; тысяча голосов из разных стран звучат в одном этом голосе, угроза, пророчество, суд всего мира возвещает он:—Долой войну! Долой правительство!

Двое полицейских схватывают его; он обороняется; его тащут. Крики, свист ударяются о стены домов. Медленно расходится толпа. Она уносит с собой запавшие в душу слова, будет их хранить и беречь, пока они не разгорятся в огненный луч, который ворвется в гнилые стены здания, для всех них являющегося тюрьмой.

Грубые руки закрыли рот человека, и все-таки слова его перелетают границы, воспламеняя сердца немногих, оставшихся верными в других странах, радостной надеждой покрывают лица других, которым не хватает мужества отстоять свои убеждения румянцем стыда.

— Слава Богу, он теперь безвреден,—с облегчением вздыхают бюргеры.—Теперь мы можем беспрепятственно вести нашу священную войну; в ней ведь есть и свои хорошие стороны.

Джойя принесла известие об аресте Карла Либкнехта. Удрученные сидят они с Иоганном и Леной в квартире последней.

— Что же теперь?—спрашивает Иоганн с прежним отчаянием.

У Джойи пылающие щеки и сверкающие глаза:—Двойная работа для нас. И в тюрьме он остается нашим вождем; влияет оттуда, может быть, еще больше, чем раньше. Разве ты не знаешь, что сказано в мессе про мучеников: «Кровь мучеников—семя церкви». Самая трудная работа сделана, массы осознали весь ужас, которым они окружены. Теперь и такие маленькие светила, как мы, могут дорогу указывать.

Лена пожала подруге руку:—Ты самая мужественная из нас, Джойя, ты никогда не теряешь присутствия духа.

— Ах, если бы вы его видели сегодня вечером?—с энтузиазмом воскликнула молодая женщина,—это не был человек, который стоял и говорил. Это было олицетворение всех человеческих стремлений к свободе и справедливости, любовь всех любящих и ненависть всех ненавидящих. Пока...—Она запнулась, кто-то резко позвонил. Лена пошла открыть и сейчас же вернулась в сопровождении Густава. Густав очень бле-

дел, еле отвечает на приветствия остальных и прямо обращается к сестре.

— Лена, когда собираются вместе все ваши дурачки?

Наши дурачки?

Да, дурачки, революционеры, святые, как ты их там хочешь называй. Я хочу пристать к вам, работать с вами. Не могу больше стоять в стороне.

Все трое в изумлении смотрели на него.

Что с вами случилось? —спросила Джойя, пораженная.

Густав бросился на софу: — Случилось? Да ничего особенного. Я просто увидел, что всякий, кто не работает против этой проклятой войны, преступник, что всякий, кто стоит в стороне, преступник, что...

— По каким образом ты внезапно пришел к этому заключению?—Иоганн в остолбенении смотрел на своего друга. Никогда еще не видел он его в таком возбуждении.

— Вы были на Потсдамской площади, —воскликнула Джойя, догадываясь.

— Да, случайно, я проходил мимо. Какой-то человек сунул мне листок в руку; я пробежал его и нашел, что все там правда, несмотря на неуклюжесть стиля. Затем я увидел, как люди теснились вокруг одного человека. Я последовал за ними, спросил, кто этот человек. Один рассмеялся: «Вы не знаете? Это же Карл Либкнехт». Откуда мне было знать его? Я первый раз слышал это имя. Я стал слушать, что говорил Либкнехт. Это было немного слов, но это была правда. Когда же я увидел, как его утащили за то, что он сказал правду, у меня вдруг появилось странное чувство. Мне даже кажется, что я присоединился к его последнему выкрику: «Долой войну! Долой правительство!»—Густав перевел дыхание и стал вытирать платком пот со лба.

— Потом,—продолжал он,—я бесцельно бродил взад и вперед и, погруженный в раздумье, сам не заметил, как очутился на Фридрихсбангофе. Тут я вспомнил Анатоля, сегодня я в первый раз его понял. Я вошел на перрон, —он засмеялся несколько смущенно,—все вместе как-то подействовало. Это как раз поезд с ранеными прибыл. Вы знаете, я не особенно мягкосердечный, но мне захотелось реветь при этом зрелище, а еще больше—убить пару злодеев, во всем этом виноватых. Разве недостаточно такого настроения для революционера?

Джойя бросилась ему на шею: —Милый старичок Густав! Завтра мы вас поведем к «нашим дурачкам». Не сказала я тебе этого, Иоганн? Кровь мучеников...

* * *

Спустя около недели после этого, квартирная хозяйка Густава ворвалась, вся запыхавшись, в его кабинет.

— Господин помощник статс-секретаря и профессор Вестфальд спрашивают, может ли господин доктор их принять?

Густав сделал сердитое лицо: —Чего им еще понадобилось? Ну, попросите войти.

Оба господина вошли, рассыпаясь в извинениях и любезностях. Густав, который стал догадываться о причине этого визита, держался сухо, почти невежливо, чего его гости как будто не замечали. Говорили раньше о различных, к делу не относящихся вещах. Наконец, Густав нетерпеливо прервал какой то изысканный комплимент помощника статс-секретаря словами:

— Какому собственно обстоятельству обязан я честью этого визита?

Статс-секретарь смущенно стал рассматривать свои выхоленные ногти, затем, кашлянув, начал:

— Господин профессор Вестфальд уже с некоторого времени обратил мое внимание на то, что вы, господин доктор, особенно работаете над изготовлением ядовитых газов. Если я верно понял господина профессора, вам удалось найти состав, далеко превосходящий до сих пор известные.

Густав усмехнулся.—Льщу себя надеждой, что моя формула лучше.

— Мы, конечно, ожидали,—елейно продолжал статс-секретарь,—что вы, господин доктор, предоставите нам свое открытие, но так как до сих пор вы этого еще не сделали, я решил посетить вас, чтобы...

— А почему я собственно должен был предоставить вам свое открытие?

— Нам известно, из какой истинно патриотической семьи вы происходите. Ваш брат показал на фронте чудеса храбрости и...

— Мой шурин в тюрьме.

Статс-секретарь был на минуту неприятно смущен. Овладев собой, он снисходительно положил руку на плечо Густава: — Милый доктор, никто не может отвечать за своих свойственников. Никому в голову не придет сделать вам какой-нибудь упрек по поводу не патриотического поведения вашего шурина. Но именно, принимая во внимание этот факт, вам, как патриоту, вдвойне важно притти на помощь отечеству в такой момент.

— Я не патриот.

Густав становился все более нетерпеливым.

Статс-секретарь неспокойно заерзал на своем стуле.

— Господин доктор хочет сказать, что он против аннексий, —примирительно вмешался профессор Вествальд, —этот взгляд разделяют многие вполне честные, лойяльные люди.

Наступило неприятное молчание. Наконец, статс-секретарь заговорил опять.

— Итак, вы сами видите, господин доктор, что это ваш долг представить нам свою формулу.

— А если я этого не вижу?

— То, как нам это ни неприятно, нам придется принять более суровые мероприятия.

Тут Густав потерял остаток терпения. Он вскочил с места и воскликнул:

— Суровые мероприятия! Кто дал вам право на мой мозг и продукты его деятельности? Я работал над этим вопросом, потому что он меня интересовал, а вовсе не для того, чтобы стать убийцей бесчисленных невинных жертв. Не дергайте меня за полу, господин профессор Вествальд, я великолепно знаю, что делаю, и я решительно заявляю вам, ваше превосходительство, что вы этой формулы у меня не получите.

Статс-секретарь поднялся и весь бледный от гнева уставился на Густава.

— Вы вынудите правительство прибегнуть к мерам, которые вам, господин доктор, будут крайне неприятны.

— Я плюю на ваше дрянное правительство!— и вне себя от ярости, Густав выдвинул ящик письменного стола, выхватил оттуда исписанный листок бумаги и раньше чем кто-либо из его посетителей успел сделать малейшее движение, изорвал его в мелкие клочки.—Вот, ваше превосходительство, теперь можете производить обыск. Это и была моя формула.—Он злорадно рассмеялся:—Но здесь, в моем мозгу она стоит вся не-

тронутая, и я еще, быть может, сумею использовать ее в иных целях.

Статс-секретарь повернулся к профессору.—Хорошо ли вы слышали последние слова господина доктора? Сумеете ли вы их подтвердить в случае надобности?

Профессор Вествальд утвердительно кивнул:—Конечно, ваше превосходительство.

Оба господина безмолвно поднялись и направились к выходу. Густав с изысканной вежливостью проводил их до дверей:—Чувствительно тронут оказанной мне честью, ваше превосходительство.

Оставшись один, он рассмеялся:—Что это на самом деле произошло со мной? Бог знает, что я здесь натворил. И откуда во мне появилась эта ярость? Из революционных ли побуждений, или из-за насилия над наукой?

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ.

Капиталисты, обогащавшиеся войной, потеряли сон и аппетит; тайные, бессознательные страхи отравляли вкус еды, отнимали у дорогих вин их букет, превращали великолепные постели в жесткие неудобные ложа. Капиталисты и все живущие войной почувствовали себя не по себе.

Вечером 28 июня этим господам еда показалась значительно вкуснее. Карл Либкнехт был приговорен в первой инстанции к двум с половиной годам тюремного заключения.—Одним бунтарем меньше,—говорили они друг другу в клубах,—и с остальными как-нибудь справимся. Все же другие социал-демократы ведут себя прекрасно; они—наши лучшие союзники. Пока они с нами, народ в наших руках.—И буржуа чокались—за здоровье нашего военного суда (приговор, конечно, мог быть несколько строже!), наше воинство и наших бравых друзей—социал-демократов!

Однако они еще не окончательно успокоились. Были еще и другие элементы, которые мутили и беспокоили народ. И их необходимо обезвредить. Но вот в июле вторично попала в тюрьму Роза Люксембург, в августе та же участь постигла Франца Меринга.—Старик был особенно опасен,—делились своими соображениями почтенные бюргеры,—его семьдесят лет

производили впечатление на сентиментальные массы. Надо надеяться, что при таком возрасте он не долго выдержит режим тюрьмы.—И на некоторое время их сон стал опять безмятежен.

Жертвой хорошего аппетита и спокойного сна этих господ явились и другие, менее известные и мало проявившие себя люди. Между такими очутился и Густав Зельдер. Его неосторожные, в запальчивости произнесенные слова о том, что он, может быть, при случае, в других целях использует свою формулу, были мотивом обвинения, повлекшего к тюремному заключению. Он отнесся к этому со свойственным ему хладнокровием, возблагодарил судьбу за предоставленный ему покой одиночного заключения, которое не помешает его работе.

Бесконечно тянулись дни. Над миром как бы тяготело проклятие судьбы.

Все нервы были напряжены в одном ожидании, ожидании изо дня в день, из часа в час. Ожидание освобождения, которое не приходит, но притти должно. Нужда и голод острыми длинными зубами грызли людей, тупая безнадежная ярость отравляла души, надломляла силы. Недоверие овладевало массами: недоверие не только к господам, но и недоверие к тем, которые мужественно и неотвратимо работали над тем, чтобы пробудить в них сознание:—Вы только говорите; почему же вы не делаете ничего? Вы такие же, как и другие,—сказала Джойе одна старуха, у которой второй сын пал на фронте, и Джойя не нашла ответа. Она сама толкала своих друзей к действиям и приходила в отчаяние от их трезвой рассудительности:—Еще слишком рано; мы недостаточно сильны,—говорили они. Борис Израилев утешал ее:—Освобождение должно притти, Джойя, но оно не будет исходить из одной страны, особенно такой, которая затвердела и окаменела от целого ряда сытых лет. Оно придет из страны, где нищета и горе в течение веков поддерживали пламя, раздували его. Лишь распинаемый на кресте народ может стать Мессией других народов.

Старая фрау фон-Рейтер, казалось, была наиболее подавлена. Теперь, когда зверское преступление блокады морило голодом женщин и детей, она с отвращением думала о том, что страна, которая виновна в этом преступлении - ее родина.

— Мне стыдно смотреть людям в глаза,—говорила она Лене, и слезы катились по ее тонкому старому лицу.—Мы все несем на себе вину за войну. Меня же, кроме того, гнетет вина и позор моей страны.—Она не разрешала себе минуты покоя; усталые, старые ноги поднимались по бесчисленным ступеням, чтобы разносить пищу и одежду в убогие каморки на чердаках. У друзей стало привычной шуткой спрашивать ее при каждом посещении:—Что вы сегодня продали?—Старушка краснела, как молоденькая девушка.—Ничего, ничего,—уверяла она. Но Лена не успокаивалась:—А где же твое бриллиантовое кольцо?—На пальце какой-нибудь толстой буржуйки,—ворчал Борис Израилев со своей кушетки. —Старухе не нужны бриллиантовые кольца,—возражала, улыбаясь фрау фон-Рейтер,—а детишкам молоко необходимо. —Красиво обставленный салон с каждым днем пустел и становился все более убогим. Ценные предметы обстановки один за другим переходили в лавки антикваров. Когда дороговизна жизни стала безмерно возрастать, она однажды удивила друзей известием, что отказалась от своей комфортабельной квартиры и сняла для себя и Израилева две маленькие комнатки в одном из бедных кварталов.

Почти вся моя детвора живет там,—об'яснила она в виде оправдания,—мне не придется тогда столько ходить.

— Она совершенно разоряется,—озабоченно говорила Лена Борису Израилеву.

— Не мешайте ей,—возразил Борис.—Она не может выносить эту нищету, когда она сама живет в довольстве. Она еще продукт старой школы, возлагающей надежды на частную благотворительность, эта милая старушка. Впрочем, совсем недурной продукт этой школы.

Ожидание, ожидание, ожидание! На фронтах гибнут миллионы; калеки возвращаются домой, слепые, больные. Дети умирают с голоду. Вся страна превратилась в одну скорбную палату бесконечно огромного госпиталя. Неужели никогда не придет избавление? Отчаяние взывает к небу, отчаяние стонет в трущобах и в тесных лачугах. Небо глухо, и глухи люди, которые в силах остановить этот ужас. Свинцовые дни осени тянутся один за другим. На смену им идут зимние дни. Бесконечна эта зима, никогда не настанет весна. Когда-то, до войны приходила весна, таял лед, обновленная счастливая жизнь

вырывалась из-под него. Это было давно. Это звучит, как в сказке. Не скрывается ли тут какой то другой смысл?

Ждать, ждать, ждать!

* * *

Мартовский ветер, с юной силой прогоняющий зиму, принес это известие. Звуки его, как бичем, врезались в черные тучи, разорвали их и открыли синеющее небо; волшебные слова:—Россия! Революция! Царь свергнут! Социалисты у руля правления! Мир!—повсюду отдавались эхом:—Россия! Спаситель народов восстал из гроба, спасение приходит.

Чужие останавливали друг друга на улице.—Читали? Неужели это правда?

Газеты, вести с востока расхватываются, читаются как евангелие. Согбенные фигуры выпрямляются, в запуганные, забитые души проникает новое мужество.—Они могли это сделать, почему же нам нельзя?

— Революция в России! Это превосходно! Теперь мы окончательно справимся со всей этой бандой!—самодовольно потирают руки бюргеры.

Борис Израилев качает головой, читая имена вождей. Не радуйтесь слишком рано: это лишь первая ступень. Это буржуазная революция. Но она проложит дорогу следующей, настоящей. Это еще не день, это лишь утренняя заря на востоке. Но он придет, светлый день!

И день пришел и принес за собой Германии темную ночь, ночь, в которой огненными буквами выделялись два слова, вечная печать позора: «Брест-Литовск».

Господа капиталисты победили: немецкие солдаты ворвались в сложившую оружие страну, и честь Германии облита грязью, растоптана немцами на улицах России. Но этот позор был ударом бича для тех, которые, отупев от безумия и ужаса, всему подчинились.

— Они нас продали,—восклицал Кернер, трясясь от бешенства, на одном тайном собрании,—и мы это потерпели. Мы ведь испокон веку привыкли к тому, что наши жизни, наши тела принадлежат капиталистам. Теперь же они хотят продать наши души. Этого мы уж не потерпим. Они еще наши, и никакой кайзер, и никакой полководец у нас их не отнимет. Наши братья на востоке не напрасно к нам взывают.

Но господа все еще слишком сильны, народ слишком слаб. Единичные голоса заглушены. Одно только сделано: глаза немецкого рабочего открылись; он постепенно начинает понимать, кто его настоящий враг, представивший ему подлых вождей, как друзей. Он начинает также узнавать своих братьев. Восток протягивает руку, и бесчисленные руки тянутся к ней, через проволочные заграждения, через окопы, через тюремные камеры, из притонов нищеты. Еще царит тьма, но уже алеет восток. Кто-то могучий во второй раз сказал: «Да будет свет!». И рассеивается туман, и разогревает уже, скрытое еще за тучами, солнце, замерзшую землю и победоносно вздымается над слепым хаосом, над ненавистью и зверством—торжествующий дух!

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ.

Борис Израилев лежал на смертном одре. Вот уж долгие месяцы, как Иоганн с изумлением ставил себе вопрос: что дает этому истощенному телу жизненные силы; непреклонная ли воля бывшего каторжанина, который не хотел уйти из жизни, не дождавшись конца ужасов, или горячее томление по первом луче свободы в Германии?

Он становился все нетерпеливее, и его властный окрик раздавался, когда друзья давали отчет о своей работе, о выпущенных листках, о тайных собраниях.

— Вы все еще сидите на первой главе евангелия!—восклицал он раздраженно:—У вас все еще «В начале было слово». Когда же наступит дело? Ваше многословие, письменное и устное, подавляет действия. Но, очевидно, в этой проклятой стране порядка вы выжидаете, пока революция будет вам милостиво разрешена свыше.

Но постепенно он все больше слабел и вместе с этой слабостью и нетерпение его улегалось.

— Что же, придет оно и без меня! Дорогу мы вам показали.

Он говорил о России. Безграничная тоска по родине овладела им. Когда длинные тени летнего вечера ложились в комнате, он говорил в забытьи:—Видишь, как светится—равнина? Бесконечно, безгранично. А там за ней вдали этот березовый лес, какой аромат! Земля мучеников и спасения. Увижу ли я тебя

когда-нибудь? Он говорил со своими старыми товарищами: «Завтра, Иван, когда министр выедет...

В порядке ли твой револьвер?.. О, эти кандалы! Они, как ледяные, зимой!.. Кто это в соседней камере? Постучи еще раз, товарищ, я тебя не понял».

А затем настали дни, когда он лежал немой, без сознания.

В августовский день, однажды на рассвете он открыл глаза. Фрау фон-Рейтер, дремавшая у его кровати, встрепенулась, когда его рука коснулась ее плеча. Он глядел на нее, не узнавая, со светлой улыбкой на лице, сказал несколько слов по-русски, поднял руку и последним усилием выкрикнул: «мы побеждаем!». Высохшее тело вытянулось, еще раз забилось, и бессильно упало. Широко открытые глаза неподвижно глядели в окно на восходящее солнце...

* * *

Когда Лена, неделю спустя, зашла к Иоганну и Джойе, она остановилась у порога как вкопанная:

Этот человек, у окна, но ведь это невозможно... и все-таки...

— Савин!

Хорошо знакомое лицо весело рассмеялось ее изумлению.

— Маленькая ошибка, милая Лена, господин Ротбергер, купец из Линца.

— Как это возможно?

— Все возможно и более чем все станет возможным. Как дела, соломенная вдовица? Как поживает Анатоль? И Густав арестован? И я посидел, чертовски долго даже, до второй революции.

Вечером все собрались у г-жи фон-Рейтер. —Наших совсем мало осталось, —сказал Савин, оглядываясь кругом. —Как больно, что не удалось повидать бедного Бориса. А где ваш пророк?

— Он уже совсем не выходит. Торчит по целым дням дома и молится. Он верит, что близок приход Мессии.

— Это его вера, мы же в России осуществляем свое дело. Строим! —сказал Савин.

— Расскажи

И он рассказывал много и вдохновенно, как напряжение воли измученного народа приняло плоть и как из этой плоти вышла Советская Россия.

— Кровавая, говорите вы, была революция? Что же, неужели вы считаете, что мы можем свергнуть врага лишь доводами чистого разума. Они, конечно, обороняются, это вполне логично и понятно, а мы обязаны защищать все завоевания революции. Это не значит, что без нас все погибнет. Перебейте нас всех, пусть восторжествует даже опять самодержавие, все равно из русской земли восстанут люди, которые явятся нашими продолжателями, которые будут бороться за нашу идею. Вся Россия ею проникнута, она овладевает всеми душами; наши вчерашние враги сегодня борются в наших рядах. Пропаганда? Конечно, мы ведем пропаганду. Но мне кажется, что мы в ней совсем не нуждаемся. Мы осуществили тысячелетние стремления народов, и одно наше существование уже является достаточной пропагандой.

— Если б и мы уж так далеко зашли,—вздохнул Кернер.

— У вас другое дело. Вы должны бороться не только с тиной крупной буржуазии, но и с мелкобуржуазным болотом, с этой грубой честолюбивой мелкой буржуазией. У вас нет размаха, чтобы сразу перескочить через эту ступень. У нас это учитывают, и мы на вас не расчитываем еще. Может быть, через три-четыре года.

— Но ведь и мы не были праздны,—вставила Джойя.

— Я знаю это. И у вас хорошие вожди, но большинство из них теперь в тюрьмах. И еще одно. Русский пролетариат сумел истинных своих вождей узнать и оценить. Немецкий этого не умеет. Дайте ему Лениных и Троцких, он их не поймет и отнесется недоверчиво к ним он даст себя восстановить против них.

— А вы нам ничего не привезли, Савин?—спросила Лена.

— Ротбергер, пожалуйста; да, но я должен это сначала передать другим, а потом уж вы узнаете.

Они засиделись до рассвета, спрашивали, рассказывали. У них всех было такое чувство, как будто с приездом Савина волна свежего воздуха ворвалась в их затхлую атмосферу. Они слушали его, как слушают странника, вернувшегося из сказочной страны, страны, к которой все мечтания и чаяния превратились в действительность.

* * *

Весь мир затаил дух и ждал. Центральные державы предложили мир. Не было громких проявлений радости; слишком

дорого достался этот мир. Сжатые кулаки злобно поднимались.

Патриоты дрожали. Они готовы были всем пожертвовать, даже «возлюбленным кайзером», чтобы успокоить народ. Народ! Что сделалось с «тупой массой», с этими «беззащитным стадом», которым господа могли управлять беспрепятственно? Внезапно эта масса двинулась, и с трепетом стали различать, что она состоит из людей, из полных горечи и гнева людей. И как их много!

Раньше отмечали с самодовольством:

— Да, у нас он имеется, человеческий материал!—и радовались числу их, числу тех, которых можно послать на смерть. Теперь же господа проклинали эту бесчисленность. Да, с небольшим народом легче справиться. Двух-трех порядочных верных полков для этого достаточно. Верных полков? Но на какие полки можно теперь опереться? Матросы бунтуют, солдаты тоже. Удивительно, этим господам и в голову не приходило, что и солдаты из народа, что и они народ. Теперь им пришлось узнать это.

События чередовались одно за другим. В Баварии была провозглашена народная республика. Шли еще споры об отречении кайзера, но уже и в Берлине говорили о республике.

— Революция?—сказал Савин Джойе, сиявшей от восторга.— Это еще не революция. Это, может быть, только прелюдия. Кто возвестил эту революцию? Социал-патриоты. Кто будет у власти? Социал-патриоты. Мелкая буржуазия у руля, Керенские и Даны. Народу так же плохо, как и раньше, хуже даже, потому что его еще легче провести, чем прежде. Думаете вы, что революция игрушка? Пока она не стихийна, пока она не взрыв народного возмущения, она ничего не может достигнуть.

— Ты неправ, Савин,—сказал Иоганн.

— Посмотрим. Если гроза осветила ночную тьму, вам кажется, что день настал. Поверьте мне, тьма, покрывающая эту несчастную страну, еще темнее станет раньше, чем рассветет.

С улицы раздавались возгласы радости и торжества. Джойя открыла окно и далеко высунулась из него.

— Это ложный Мессия, — с раздражением проворчал Савин,—Мессия, спаситель буржуазии,—нечего радоваться!

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ.

— Господи, на что им понадобилось выпускать нас из тюрьмы!—мрачно сказал Анатоль с глазами, печально устремленными в серый зимний туман. —Мы там были счастливы, чувствовали уже давно, что что-то готовится, что наполняло радужными надеждами наши серые тюремные дни. И затем эта чудесная весть о девятом ноября. Мой сосед по камере первый узнал ее. Каким образом? Такие вести быстро проникают через стены. Он выстучал мне: «Победа! Революция!». Я заставил его три или четыре раза повторить эти слова, мне необходимо было их слышать еще и еще раз. Когда я передал их дальше, я услышал, что мой сосед разрыдался, как ребенок. Мы ведь чуть с ума не сошли от счастья. Наконец-то! И вот мы на свободе и находим —вот это!

Он повернул к Лене страдальческое лицо.

— Милый, —пыталась она его утешить, —но ведь это же только начало.

— Нет, это конец. Как вы это могли допустить? Ведь в один прекрасный день вся власть уже была в руках пролетариата, и он выпустил ее. У него не вырвали ее силой, нет, он сам дал забрать ее у себя, думая, что он передает ее друзьям...

— Но ведь и в 1905 году мы были побиты, —вставил Савин.

— Это было совсем другое. Тогда вам пришлось уступить врагу, но вы твердо знали, что через несколько лет борьба начнется сызнова. Но у нас большая часть народа уверена, что все обстоит великолепно.

— Но в правительстве есть и наши друзья,—Лена хваталась за каждую соломинку.

— Их понемногу вытеснят. Одного—сегодня, другого—завтра.

— Мы этого не потерпим,—воскликнул Иоганн, а Густав добавил:—Ты уж черезчур мрачно на все смотришь, Анатоль, мы можем каждую минуту иметь подкрепления из Шпандау и Франкфурта на Одере. Впрочем даже не потребуются такие средства. Пусть только состоится воскресная демонстрация, так у нашего правительства уже душа в пятки уйдет.

Но Анатоль не успокаивался.

— Вы все забываете, кто теперь у власти. Незначительные, омещанившиеся людишки, которые впервые показались себе

великими и важными. Они уцепятся за власть, как собака за кость, они пойдут на уступки буржуазии, военщине, они все сделают, чтобы только остаться у власти.

— Ну, на предательство они не пойдут,—горячо возразила Джойя.

Анатоль горько рассмеялся.— Они в течение четырех лет достаточно привыкли к предательству. Чего иного можно ждать от них? Это известно и нашим вождям. Они великолепно знают, что это борьба не на живот, а на смерть.

Идем, Анатоль, на собрание. Либкнехт будет говорить.

— Я не могу выйти на улицу, не могу видеть, как развевается красное знамя, загрязненное и обесчещенное руками, которые ему были всегда враждебны. Германия уже два раза убивала идею: в Брест-Литовске и в революции!

Он закрыл лицо руками. Глубокая, тяжелая безнадежная тишина водворилась в комнате. Наконец фрау фон-Рейтер прервала молчание. Ее старая дрожащая рука ласково легла на склоненную голову Анатоля:— Я не знаю хорошо, в чем дело, я только неясно чувствую, что опять люди низвели святыню и обесчестили ее, но это позорит людей, дитя мое, а не святыню. Она останется вечной и непобедимой. И здесь она осталась у многих в сердце. Поверь мне, она так сильна, что если даже один единственный только человек сохранит ее в своей душе, она из этой единственной души запылает для всего света.

Анатоль поднял голову. Он, казалось, не слышал слов старухи. С изменившимся лицом он стал смотреть в окно.—Как снег падает и все покрывает. Вся улица кажется могилой.

Они понимали его настроение, которое постепенно передалось всем. Лишь старушка улыбнулась и сказала тихо, но уверенно:—О, молодежь, вы еще не знаете, что могила, это не смерть, а воскресение!

Бесконечный кортеж тянулся по аллее Победы,—темная угроза в беловатом тумане зимнего дня. И недоумело дивились ему мраморные статуи со своих пьедесталов:—что это значит? В наше время ничего подобного не происходило. Бедные люди тогда скромно теснились и подчинялись нашим приказаниям. Что это за люди проходят сегодня мимо нас? Они по виду бедны, и по наружности и по платью не отличаются от наших верноподданных, но никогда не видели мы в чертах нашего славного народа такого выражения. Послушание, преданность

олицетворяли они собой, они едва осмеливались поднимать на нас глаза. У этих же твердые, решительные лица, смело глядящие, пылающие глаза. Право, это уже не подданные! –И мраморные статуи властелинов зябко кутались в свои снежные плащи и возмущенно покачали бы головами, если бы им это позволила мраморная неподвижность их затылков.

Это уже не были верноподданные, те люди, что бесконечным кортежом тянулись мимо них, это были люди, сознавшие свое достоинство и не признававшие над собой никакого господина; люди, понявшие, наконец, что они сами себе господа, они, народ, пролетариат. Это были люди со смертельной горечью на душе от сознания, что их вторично провели и что на сей раз обманули их не исконные враги, а бывшие друзья, которым они десятки лет безусловно верили, которые были их вождями.

Это сознание жило, переходя от одного человека к другому, удваивалось при каждом ударе, при новом натиске. Пламя ненависти разгоралось, и каждая новая мысль как бы подливала масла в этот огонь. Слова вождей врывались в него, как вихрь, разжигали его все сильнее, и пламя с удвоенной силой возносилось ввысь. Долго сдерживаемая ненависть, священный гнев проходил в то воскресенье по улицам Берлина.

Анатоль, присоединившийся к кортежу, чувствовал, что с его груди свалился гяжелый камень.—Побеждены? Как мог я верить этому? Каждый удар лишь удваивает наши силы. Мы—пламя, пожирающее эту непроходимую чащу лжи, мы—море, заливающее дюны. Вместо каждой, отраженной скалами волны, сотни других поднимаются. Мы бессмертны, потому что мы—человечество. Пусть нас убьют, уничтожат, новое пламя воспрянет из пепла и сожжет их крепости и твердыни. Мы непобедимы!

Бой кипит на улицах Берлина. Стрельба все усиливается. Кровь потоками заливает улицы, дикие крики, войска.

Гражданская война! Побежденные 9-го ноября, офицеры, «верные войска» свирепствуют. Они внезапно очутились в тесной дружбе с ненавистным им раньше правительством. Разнузданная жестокость торжествует, и радостно упивается резней затаившаяся за ней реакция.

Маленькая горсть — ожидавшиеся подкрепления не явились—вступила в отчаянный бой, бой, могущий прекратиться лишь с поражением их. Не всегда они будут слабыми.

Царство свободы должно быть куплено кровавой ценой. И эти истерзанные, смертельно раненые, на улицах умирающие, раздавливаемые лошадьми, люди, оставляют своим детям последнее, которому цены нет,—идею. И пусть падут все вожди, мы не останемся без предводительства, с красным знаменем в руках осветит нам путь идея, как огненные столбы освещали евреям путь в обетованную землю.

Густав ранен. Анатолю и Иоганну, бьющимся рядом с ним, удается протащить его в квартиру Иоганна. Когда они спешно выходят, Джойя цепляется за Иоганна:—Когда ты вернешься?

— Не знаю. Лепы здесь не было?

— Она привела сюда ребенка и опять убежала. И я теперь должна сидеть здесь.

— Должен же кто-нибудь остаться в живых, Джойя.

Она испугалась серьезного выражения его голоса.

— Ты думаешь, что нет никакой надежды? что мы напрасно умираем?

— Не напрасно, дорогая. Это не решительный еще бой, это лишь начало долгой, отчаянной борьбы.

Он горячо обнял ее.—Прощай!

Ранний зимний вечер все окутал серым туманом. Бой на улицах ослабевает. Кое-где еще раздается выстрел, вдали грохочут орудия. От времени до времени рефлекторы бросают яркий свет на асфальт.

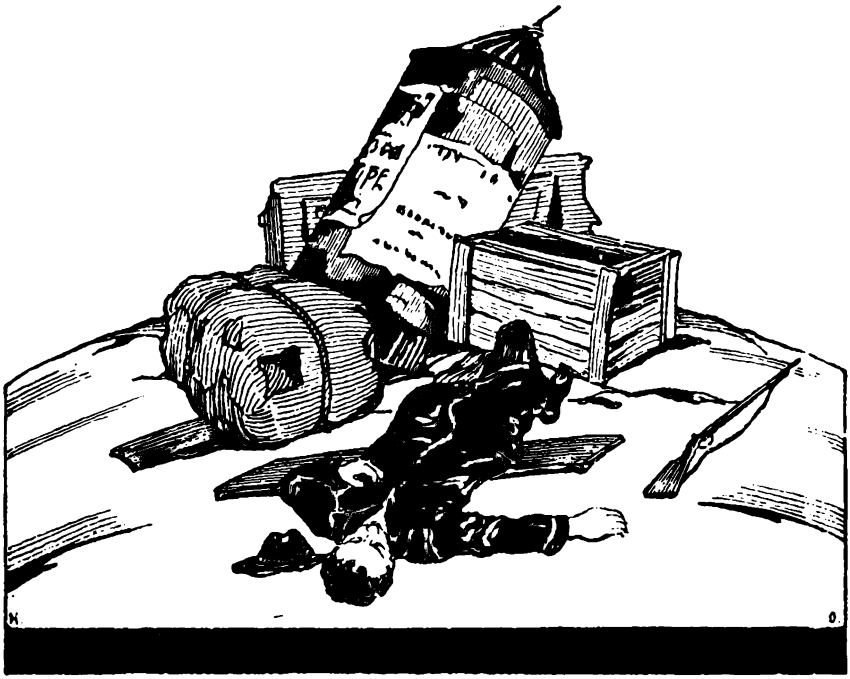
Иоганн стоит на своем посту. Он смертельно устал, холодный ветер пронизывает его, тяжелая грусть давит мозг. Конский топот глухо звучит с мостовой. Иоганн поднимает ружье. Его уже заметили:—Еще один проклятый спартаковец!

Молния прорезывает зимнюю ночь. Резкий треск. Солдаты мчатся дальше. Иоганн лежит на мостовой, чувствует, как теплая, липкая жидкость струится по нем.

На дальнем конце улицы происходит еще одна стычка. Рефлекторы прорезывают тьму. Затуманивающимися глазами Иоганн видит устремляющиеся одна за другой черные точки. Отчаяние овладевает им. Неужели это конец? Неужели побеждает несправедливость, конец свободе? Неужели никогда не будет достигнута обетованная земля? У ворот ее—войска и орудия.

Издали доносится конский топот. Странно, это кажется чем-то другим, как будто бы удары молотками по камням строю-

щегося здания. Его мысли путаются. Ему внезапно становится тепло и хорошо, свинцовая тоска, тисками сжимавшая ему грудь, куда-то исчезает. Нежный, заглушенный звон звучит в его ушах,—бубенчики, да, бубенчики. Перед закрытыми глазами проносится картина. Широкая, бесконечно длинная улица ярко освещена. Он, маленький мальчик в теплой шубке, мчится в санках рядом с красивой женщиной... Руки ее тесно обвивают



Иоганн лежит на мостовой за полуразрушенной баррикадой.

его и прижимают к себе... Санки проносятся... Видение исчезает... А вот уютная комната; у письменного стола сидит Джойя. Свет электрической лампы ярко горит на рыже-каштановых волосах, они отливают бронзой... А там вдали, сквозь все эти неясные образы все тот же странный стук, стук молотка по камням.

В конце улицы все еще идет сражение между черными, мелькающими точками. Иоганн видит, как они приближаются, удаляются друг от друга, немногочисленные черные точки. По временам что-то освещает их, яркий луч света тянется из одной точки к другой. Холодная струя действительности проникает

в мозг Иоганна, леденит его. Это люди· борющиеся люди. Но снова мягкий, розовый туман окутывает его. К нему доносится запах сирени. С напряжением всматривается он в борющиеся черные точки. И смеется. Как мог он на минуту допустить, что это сражающиеся люди, люди, несущие смерть друг другу? Это был лишь злой сон. Теперь глаза его опять все ясно видят, а стук молотков делается все явственнее, и перед ним открывается бесконечное шествие людей, взбирающихся на холм с каменьями в руках... Все новые и новые прибывают, со всех концов света, и приносят камень за камнем.

В глазах его темнеет... Он закрывает их, ловя воздух... Потом снова отвертывается, и перед его счастливым взором возвышается храм, сияющий и сверкающий неземным светом, в завершенном великолепии возносящийся в вечерние небеса.